«…искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами.
Оно неотступно размышляет о смерти
и неотступно творит этим жизнь.
Большое, истинное искусство то, которое называется
Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает»
(«Доктор Живаго». Борис Пастернак)

Быть знаменитым некрасиво.
Не это поднимает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

(Борис Пастернак, 1956)

В отношении пробелов — не согласен. Про тех, кого любишь, надо знать все. Хотя любовь — вещь странная и запутанная. Сейчас, когда идет очередная война и говорят пушки — в Сирии, на Донбассе — Пастернак может выйти из моды. Не годится он в качестве знамени, с которым хочется идти воевать. Почему же мне хочется думать о нем? Наверное, дело в сложности его талантливой, противоречивой личности, мне хотелось разобраться — действительно ли Борис Леонидович предал родину, как говорят его критики. Он, вроде бы, не доносил, не боролся за власть, не интриговал, не навязывал другим своего мнения. Просто писал и думал, был свободным художником, сохранившим почти идеальное духовное зрение. Не присягал кровью пропитанным идеям, не подписывал подметных писем, сострадал узникам и гонимым — Осипу Мандельштаму, Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Ариадне Эфрон, Варламу Шаламову… В страшное, жестокое время, позволял себе остаться добрым, смог не изгваздаться в крови, а многие попробовали себя в палаческом ремесле. Чем же он так обидел Россию?

Тем, что не готов был нажать на курок по приказу, выкрикнуть проклятие отверженному, затоптать непохожего? Тем, что сторонился господствующей идеи, верноподданнического пафоса? Тем, что не любил заседаний и вместо этого возился на своем огороде в Переделкино? Что же был он за человек, если одного стихотворенья Пастернака о Нобелевской премии было достаточно, чтобы воспламенить ЦК КПСС и мировую общественность? На фотографиях взгляд у него чистый, как у ребенка, и отстраненный, как у блаженного. Он даже не смог «правильно» выступить на антифашистском конгрессе в Париже, куда его силой привезли в 1935 — сущий ребенок по искренности и простодушию. Недаром убить его не поднялась рука ни у Сталина, ни у Хрущева, хотя подготовка к уничтожению шла, Ольгу Ивинскую посадили только за любовь к Пастернаку. «Оставьте в покое этого небожителя», — как-то сказал Сталин, когда у него в очередной раз просили разрешения арестовать Пастернака. Как же Пастернак жил там, на своем поэтическом небе? Об этом писали Иван Толстой, Дмитрий Быков, Владислав Отрошенко, но Пастернак до сих пор оставляет место для авторских прочтений. Его мысли, образы часто туманны, основаны на личной рефлексии, с ним не всегда соглашаешься, в них мало простых формулировок, поэтому Пастернак долго был поэтом и писателем лишь для интеллигенции. Его не смогли понять, осилить Троцкий, Ходасевич, Горький… Пастернак предельно сложен, для понимания его творчества мало познакомиться с философией его времени, мало вспомнить духовное наследие Толстого, перелопатить идеи акмеизма, футуризма, символизма, воспринять культурный, исторический, искусствоведческий контекст той эпохи. Нужно знать его личный опыт, а такой возможности ни у Троцкого, ни у Ходасевича не было. Зато эта возможность есть у нас, благодаря открытым сейчас архивам гениального писателя. Мне хотелось пробиться к душе этого сложнейшего человека через письма к родным и друзьям, к любимым женщинам. Тут не обманешься, тут человек снимает с себя маски, личины, роли. Пастернак почти каждый день писал дорогим ему людям, за эту драгоценную ниточку я и попробовал слегка распутать клубок его удивительной жизни.

Борис Пастернак родился в Москве 10 февраля 1890 года в семитской по крови, христианской по отношению к религии, толстовской по воззрениям семье художника-импрессиониста, иллюстратора книг Толстого, академика живописи Леонида Осиповича Пастернака. Мамой Бориса стала пианистка Роза Исидоровна Кауфман, ученица Антона Рубинштейна, родом из Одессы. Борис Пастернак в детстве был крещен, рассказывал в старости Маслениковой про множество православных служб, которые отстоял в детстве. Он и в старости хорошо помнил Псалтирь и ход литургии, тщательно изучил Евангелие и откровение Иоанна

Богослова, но жизнь его родителей была связана не с церковью, а с Толстым.

Познакомился Леонид Осипович с русским национальным гением ещё в молодости — передвижную выставку с его картинами привезли в Москву, в залы Училища живописи — туда явился Толстой. Он работал в это время над эссе «Что такое искусство» и много общался с художниками, композиторами, стараясь понять эти сферы искусства. Около картины Пастернака «Дебютантка» Толстой заинтересованно остановился, к нему подвели автора. Леонид Осипович сказал Льву Николаевичу, что пишет ещё и акварели к «Войне и миру», Толстой сразу же назначил ему встречу в Хамовниках. С тех пор Лев Николаевич иногда заказывал иллюстрации Леониду Осиповичу для своих новых книг, Пастернак-отец попал под обаяние Толстого. *«Его дух наполнял весь наш дом»*, — позже вспоминал Борис Леонидович. Вместе с отцом в 1910-м Борис ездил на станцию Астапово, чтобы проститься со Львом Николаевичем. Чередой приездов семья Пастернаков была связана с Ясной Поляной, Одоевым, Поленовым и вообще тульской землей. Леонид Осипович участвовал в рисовальных вечерах у Поленова, Роза Исидоровна ездила в Ясную играть Толстому. Борис Пастернак месяцами жил в Одоевском и Алексинском уездах, много раз приезжал в Тулу. Одна из его ранних книг так и называется — «Письма из Тулы».

Рос Борис Пастернак в идеальной для развития писателя творческой атмосфере. Друзьями семьи Леонида Осиповича были Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Райнер Мария Рильке, Николай Ге, который говорил в шутку, что у него только два настоящих друга — Толстой и пятилетний Боря Пастернак, любивший сидеть у него на коленях. Под влиянием Скрябина Борис тоже стал сочинять музыку, чуть позже Скрябин подтолкнул его к занятиям философией.

Как многие творческие люди Пастернак с детства обладал страстной натурой, был очень эмоциональным, влюбчивым, ревнивым. Он говорил скульптору Маслениковой, делавшей его портрет в 1958, что *«мог влюбляться в товарищей и страшно ревновал, когда такой товарищ оказывал кому-нибудь предпочтение, ну например, становился в паре не со мной»* (4). Первая девочка, в которую он влюбился — Оля Фрайденберг, его двоюродная сестра, дочь отцовской сестры Анны Осиповны Пастернак. Анна Осиповна вышла замуж за Михаила Филипповича Фрайденберга, питерского издателя журнала «Сверчок». Михаил Филиппович был изобретателем в сфере полиграфии, развивал цинкографию, совершенствовал издательские технологии. Жили Фрайденберги в столичном Петербурге, а Пастернаки — в провинциальной тогда Москве, которую часто называли «большой деревней». Семьи родственников часто общались, ездили друг к другу в гости, вместе отдыхали в родной Одессе. Оля Фрайденберг в дневниках пишет: «Боря был культурный, очень развитой мальчик. Он уже читал Спенсера и Смайлса… я ссорилась с ним невероятно. Втайне я тяготела к игре в бирюльки и качелям, а Боря изучал законы метрики и стихосложения… Боря был добр и юродив, как все Пастернаки. После ссоры и моей брани он заходил в детскую, становился посредине и с надрывом восклицал: — А все-таки я тебя люблю!» (3). Однажды он внезапно поцеловал Олю, «вызвав взрыв негодования такой пошлостью» (3). «В лесу, куда он убежал в утро приезда на дачу в Калужской губернии, чтобы пополнить свой образцово собираемый гербарий, ждала его самая поразительная неожиданность. На даче, стоявшей по западному краю леса, сочиняли музыку… Композитором был Александр Николаевич Скрябин. …лежа в кустах, Боря и Шура часами слушали, как он работает. К вечеру, усталый, Скрябин выскакивал из дому и, размахивая руками, быстро, иногда бегом и вприпрыжку проходил несколько верст. Лучшим местом для таких прогулок было почти безлюдное к исходу дня Калужское шоссе. Там он встретился с Леонидом Осиповичем, они познакомились и часто потом гуляли вместе. Говорили

об искусстве, которое Скрябин считал безграничным и всепобеждающим, утверждая, что творческой личности и в жизни все позволено... Леонид Пастернак соглашался с ним лишь в том, что имело прямое отношение к мастерству и работе... Сопровождавший отца Боря был на стороне Скрябина, он чувствовал себя всемогущим» (3).

Мировоззрение Скрябина сам Борис Пастернак определял позднее как эгоцентризм и ницшеанство. А тогда, на калужской даче, произошло событие, возможно спасшее жизнь Борису в годы Первой мировой. Из ближайшего села каждый вечер гоняли табун в луга по речной пойме. Кавалькада молодых женщин и девушек на лошадях без сёдел стремительно проносилась мимо дачи Пастернаков. Мысль съездить с девушками в ночное поселилась в голове Бори. 6 августа 1903, в праздник Преображения, наивный Борис осуществил своё неосторожное желание — отправился с девушками в ночное и сразу же слетел с разогнавшейся лошади, упал на землю, табун пронесся по нему, сломав мальчику бедро. Боря несколько дней был в бреду, у него повысилась температура, Леонид Осипович от переживаний тогда поседел. Больше месяца Боря провел в постели, его нога срослась со значительным укорочением, он стал негодным к военной службе. После перелома Боря долго прихрамывал, носил ботинок с толстой подошвой, затем привык слегка подгибать левую здоровую ногу вровень с правой и уже не хромал.

В 1909-м молодой Пастернак влюбился в Олю Фрайденберг. На всю жизнь она станет едва ли не самым главным адресатом Пастернака, поэтому о ней чуть подробнее. Борис и Ольга в ранней юности много общались, вместе исследовали окрестности Петербурга. Оля пишет, что «таскала его с собой как брата», он же, по ее словам, «ходил за мной как влюбленный» (3). Они вовсю веселились. У друзей Оли имелась бельевая лавка, Бориса ставили за прилавок и он «продавал кальсоны и лифчики, рекомендовал, божился, зазывал прохожих с порога под хохот друзей и смех покупателей» (3). Во время прогулок Борис «говорил целыми часами», Ольга шла молча и «почти ничего из того, что он говорил, не понимала» (3). Кульминацией их отношений стала совместная поездка летом 1910 в приморский поселок Меррекюль, близ Усть-Нарвы, на дачу её родителей. Ольга на короткий период тоже влюбилась в Бориса, «не могла найти себе места и ждала до беспамятства, ждала до потери чувств и рассудка, сидела на одном месте и ждала» (3) его. В этот период жизни Борис писал Ольге громадные влюбленные письма, в которых говорил о «своем мучительном чувстве». Борис звал Ольгу к себе в Москву, но девушка быстро осознала, что её отношение к Борису — это «страсть воображения, но не сердца. Никогда Боря не переставал быть для меня братом, как бы ни был он горячо и нежно мною любим... Я была ему страстно преданной, любящей сестрой» (3).

Одновременно Боря симпатизировал ещё нескольким девочкам, например Иде Высоцкой, дочери потомственного торговца чаем Давида Васильевича Высоцкого. Пастернак часто приходил в их особняк в Чудовском переулке (в советское время там находился Московский центральный дворец пионеров). Познакомились молодые люди, когда старшие дочери Высоцких — Ида и Лена — брали у Пастернака-отца уроки рисования. Впоследствии в доме Высоцких часто устраивали артистические вечера для молодежи, Боря с юности был здесь своим. Уже подростком Боря писал прозаические тексты о молодом композиторе Дмитрии Шестокрылове, сочинял музыку, практиковался в стихосложении.

Россия тогда стремительно менялась. *«Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц, — писал о том времени Пастернак. — На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству — искусству большого города, молодому, современному, свежему».* У нового искусства имелась склонность к теоретизированию, Пастернак оказался тут очень кстати со своей философской под-

готовкой. На первых порах он увлекся символизмом. Фрайденберги к этому времени переехали в большую новую квартиру на Грибоедовском канале в Питере, сразу за Казанским собором — отец семейства Фрайденбергов, талантливый инженер, изобрел автоматическую телефонную станцию, вдобавок он хорошо зарабатывал как журналист «Петербургского листка». Борис продолжал ездить к разбогатевшим Фрайденбергам в новую квартиру, осваивая российскую столицу. *«Целые дни я бродил по улицам бессмертного города,* — вспоминал Пастернак, — *точно ногами и глазами пожирая какую-то гениальную каменную книгу... я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским...»* Когда он отправлялся в театр или на прогулку, Оля Фрайденберг была его верной спутницей. При этом относилась она к юродивому Борису с жалостью, иронией: «В житейском плане он был не от мира сего, налезал на тумбы, был рассеян и самоуглублен» (3).

Россия в то время вынашивала революцию, ещё невидимый миру плод толкался в объемном чреве будущей матери, люди ждали его с радостью и надеждой. В 1905 году ребенок впервые показался на свет. На первых порах он казался милым, оригинальным, даже Леонид Осипович Пастернак написал другу, что ему «ужасно хочется принимать участие в общем деле «переустройства» России и приходится завидовать тем деятелям, которым на долю выпало участвовать в освободительном движении родины и ее будущего счастья!» И Боря тоже пытался принимать участие в уличных событиях наравне со всеми, отец с трудом удерживал его дома, потому что на демонстрации Боря умудрился попасть под нагайки казаков. Ожесточение в стране нарастало, Пастернак-отец от греха подальше решил уехать с семьей в Берлин, ему быстро надоело «...видеть этих зверей — солдат, городовых, рожи этих всех надоевших мне до галлюцинации в Москве! Если бы вы видели... на Николаевском вокзале! Пировали казаки, всюду жандармы, казарменная вонь, дух опричнины...» В Берлине Пастернак-отец познакомился с Горьким, а Боря занялся немецким языком, писал музыку, ходил по картинным галереям. Революцию 1905 года в России подавили, наивная российская интеллигенция восприняла это как временный «упадок», еще не догадываясь, что после успешной революции 1917 их ждет смерть, изгнание или поражение в правах.

Борис в это время снова попал под влияние Скрябина и тот, узнав, что Боря подал документы на юридический факультет Московского университета, советует перевестись на философское отделение. Родители Бори, желая оставить его на юридическом, отправились за советом к Толстому. Лев Николаевич, уже переживший свой знаменитый мировоззренческий кризис, ясности не внес. Он сказал Пастернакам, что «дело университетов состоит в том, чтобы оправдывать отжившие основы жизни. Это хуже для молодого человека, чем для девушки — проституция». Ошарашенные родители отстали от Бори, он подал прошение декану историко-филологического факультета о зачислении сразу на второй курс философского отделения. Его способности позволяли ему поступать хоть на третий...

Но как все молодые люди Боря хотел самостоятельности. Отец и сын часто ссорились, Борис поселился отдельно от семьи, зарабатывал на жизнь частными уроками. Летом семья Пастернаков отдыхала в Одессе, Пастернак-отец записывал в дневнике: «Скандал утром и крик его. Желание настоять на своем. Больше жить вместе не возможно». Боря обвинял отца в «безнравственном отношении ко времени», юношески бросаясь из крайности в крайность. Он то пробует себя в аскетизме, то погружается в ницшеанство, при этом продолжая писать стихи. Первые известные миру рифмованные строчки Борис Леонидович написал еще в 1909 (*«Сумерки... словно оруженосцы роз»*) — девятнадцатилетним юношей. Затем два года от стихов он воздерживался.

В апреле 1912 он решил поехать учиться в Марбург к профессору

Когену. В Марбургском университете читал лекции Джордано Бруно и пять лет учился Ломоносов. Деньги на поездку (100 рублей для начала) дала мать из своих накоплений. Боря отправился в Германию почтовым поездом в общем вагоне, опыты аскетизма ему тут очень пригодились. Он приехал в Берлин, затем добрался до Марбурга, снял комнату на окраине города, пытался готовится к семинарам и выступлениям, но его отвлекали девочки — Ида и Лена Высоцкие. Они приехали погостить к Пастернаку 12 июня, остановились в лучшей гостинице Марбурга, при объяснении в любви Пастернака Ида сказала Борису, что не любит его. Пастернак пытается что-то изменить, несколько раз он ездил к Иде в Берлин, но девушка остается равнодушной к нему, она просто развлекается. Боря снова начинает писать стихи, как бывает у интеллигентных мальчиков при любовных неудачах. Стихи получаются неожиданно хорошими — Боря повзрослел за два года, стал глубже.

Тем временем Пастернака-отца с семьей пригласили пожить в русский пансион поселка Марина-ди-Пиза в Италии, родители уехали, Боре сразу надоело заниматься философией в Марбурге — он всю жизнь мечтал увидеть Рим, Флоренцию... Борис вдруг осознает, что академическая среда его раздражает, отталкивает, он возмущенно пишет другу о марбургских философах: *«...они не спрягаются в страдательном. Они не падают в творчестве. Это скоты интеллектуализма»*. Такое может написать лишь поэт, никак не философ. В начале августа 1912 Боря сдал книги в университетскую библиотеку, собрал вещи, выехал в Базель, где сел на поезд, идущий в Милан. Затем через Флоренцию добрался до Марина-ди-Пиза. Вскоре туда нагрянула и Ольга Фрайденберг. К этому времени она заболела туберкулезом, врачи отправили ее жить в Германию, затем в Швейцарию, где она с матерью поселилась в Монтре у Женевского озера (там после будет жить Набоков). Горный воздух и европейская медицина вылечили ее, девочка из богатой семьи почувствовала вкус европейской жизни. Каждый год по несколько месяцев она теперь проводила за границей, признаваясь позже в дневниках, что «не боялась ни случайности знакомств, ни двусмысленности встреч и свиданий... открытая всем впечатлениям и чувствам» (3). Она привыкла «к широкой заграничной жизни, к мужской прислуге, к лакеям... к исполнению всех прихотей и капризов... привыкла нажимать кнопки и заказывать автомобили, билеты в театр, ванны... любила хорошо поесть — разные черепаховые супы, тонкие вина, кремы, особенно мясо с кровью» (3). «Я обещала Пастернакам заехать к ним в Марина-ди-Пиза, где они снимали виллу на берегу Средиземного моря. У дяди меня встретили с восторгом. Только Боря держался отчужденно. Он, видимо, переживал большой духовный рост... Ему не о чем было со мной говорить. По вечерам черная итальянская ночь наполнялась необычайной музыкой — это он импровизировал, а тетя, большой и тонкий музыкант, сидела у темного окна и вся дрожала... Его раздражало мое легкомыслие. Мы ссорились... Я мечтала удрать. За мной следом тянулась переписка, голубые конверты, телеграммы. Я, сидя под Пизой, назначала с легкостью свидания на вершинах гор и за тридевять земель... Боря не удостаивал меня словесами. Он еще в начале осудил меня за встречу и поездки с Винченцо Перна (я не скрывала своих похождений), и очень остроумно называл этого уроженца Павии «твой павиан» (3).

Боря в это время пишет музыку и напряженно работает над стихами. Вернувшись домой в Москву, Пастернак начинает публиковаться, многие из его стихов уже этого периода великолепны: *«Февраль. Достать чернил и плакать! / Писать о феврале навзрыд, / Пока грохочущая слякоть / Весною черною горит» (1912)*. При этом сам Пастернак — он много раз говорил об этом — свои ранние стихи не ценил, признавая лишь те, что написал после 1940 года. Начиная с 1930, он станет принуждать себя писать проще, уходя от излишнего экспериментирования в форме, говоря Вильмонту, что *«это противоречит природе искусства,*

которое должно быть не пробою сил, а непреложным осуществлением» (5). В 1930-м Борис Леонидович скажет будущей жене, Зинаиде Николаевне Нейгауз: *«Не старайтесь привыкать к моим стихам; они того не стоят. Я напишу другие, где все будет понятно»* (6).

Совершив еще несколько поездок в Европу, совершенно погрузившись в поэзию, Пастернак все же закончил философский факультет Московского университета, но забирать диплом философа не поехал, окончательно решив связать свою жизнь с литературой.

Перед мировой катастрофой 1914 жизнь в Европе стремительно менялась. Любовные приключения в Берлине и Швейцарии для русских девушек и юношей стали невозможными, время черепаховых супов и романтических свиданий заканчивалось. Ольга Фрайденберг вернулась в Россию, осенью 1917 поступила учиться на отделение филологии в Петербургский университет, «разбитая бурями пережитого» (3).

Борис Пастернак в это время живет в Москве отдельно от родителей, зарабатывает на жизнь как домашний учитель — бегает к ученикам в затертом плаще, мечтает издать первую книгу, дружит с поэтами Бобровым, Асеевым, Дурылиным… В 1913 Борис начинает посещать московскую квартиру Синяковых, симпатизируя одной из их дочерей, составляющих центр нового артистического салона. Богемная атмосфера этого места раздражала Пастернака-отца, Осип Леонидович не хотели отпускать сына в эту «клоаку», но Боря был уже абсолютно самостоятельным. В квартире Синяковых (эта семья приехала покорять Москву из университетского Харькова) играли в карты, читали стихи, дурачились, ужинали чем придется. В квартире жило пять романтически настроенных девушек — дочерей Синяковых. Они устраивали домашние спектакли-мистерии, бродили по лесу в хитонах с распущенными волосами, кокетничали с поэтами, в салоне Синяковых родился футуризм как явление культуры. К одной из сестер Синяковых был неравнодушен Хлебников, в Надю Синякову влюбился Пастернак, в Марию — Бурлюк, на Оксане женился Асеев.

Наде Синяковой посвящены многие стихи Пастернака этого периода. Однажды, провожая любимую девушку в родной для неё Харьков, Пастернак доехал на поезде до Тулы, вышел на вокзале и тут же начал писать подруге длинное письмо, которое осталось не отправленным. Пастернак всю ночь бродил по Туле, писал влюбленные письма, наполненные размышлениями о литературе, в переработанном виде эти тексты стали основой книги «Письма из Тулы», вышедшей из печати в апреле 1918. В этой книге Пастернак размышляет о футуризме, называя наши толстовские места *«территорией совести»* русской литературы. Впрочем, к 1918 Пастернак уже перерос футуризм, и вообще ему претит любая групповая идеология.

Вскоре связь Пастернака с Надей Синяковой прервалась, она заболела, вернулась в родной Харьков. Зимы 1914-1915-1916 молодой Пастернак провел на заводах Урала в семье своего нового друга — химика Збарского. Друг дал возможность Пастернаку жить у него, работая на Урале и Каме конторщиком, регистратором по военному учету, делопроизводителем… По сути, это была синекура, образованному Збарскому не хватало в провинции культурного общения, поэтому он создавал другу наилучшие условия для жизни и творчества. Они вместе музицировали, обсуждали новинки литературы, ходили на охоту, устраивали театральные представления, пока не началась война.

Летом 1914 Пастернак приехал в Москву, нанялся работать учителем в семью поэта-символиста Балтрушайтиса, который снимал дачу в селе Петровском на берегу Оки недалеко от Алексина. Компания летом здесь подбиралась отличная: соседями были Скрябин и Вячеслав Иванов. Неподалеку, в Ладыжине, жил Бальмонт. В Тарусе — семья Цветаевых. Возле села Бёхово построил свой дом Поленов. На Оке, возле Алексина,

Пастернак и узнал о начале Первой мировой. Поддавшись общему патриотическому порыву, думая, что русская армия сможет легко захватить черноморские проливы и Константинополь, Борис Пастернак хотел пойти на фронт добровольцем, но его не взяли из-за укороченной ноги. А затем начались военные неудачи, человеческие потери становились все больше. В начале войны в России любили говорить о «нравственном падении тевтонов и русской освободительной миссии на Балканах», доказывая необходимость возвращения храма Святой Софии и захвата черноморских проливов, но к 1915 наступило протрезвление — стало понятно, что легкой войны не получится. Русское общество не понимало, что Мировая война это ловушка, в которую заманили Россию мировые кукловоды, вскоре свои инструкции по разрушению Российской империи получат Керенский, Ленин, Троцкий. Близилась гибель традиционной России, но российская интеллигенция играла в рафинированный сатанизм, культурное безбожие, выказывая чудеса непрактичности, прекраснодушия... Они буквально призывали смерть, играли в декаданс, запах гниения висел в воздухе. Вот взять хотя бы футуристов: молодой умерла Елена Гуро, покончили с собой Игнатьев, Божидар и еще несколько близких им человек. Русская интеллигенция была «не для жизни», как сказала после Цветаева.

Пастернак не хотел умирать. Он писал стихи, посетил Надю Синякову в Красной Поляне летом 1915, затем снова уехал на Урал к Збарскому. Жили все вместе сначала в городке Всеволодо-Вильв, а после в местечке Тихие Горы на Каме, недалеко от печально знаменитой теперь Елабуги. Збарский наладил в Тихих Горах производство необходимого для русской армии хлороформа. А во Всеволод-Вильве, это недалеко от Перми, находились заводы Зинаиды Резвой, где производили уксус, ацетон, древесный спирт, хлороформ. Тридцатилетний Збарский, как сейчас говорят, был хорошо оплачиваемым топ-менеджером этих заводов. Борис Ильич Збарский оказался непростым человеком. Он окончил химический факультет Женевского университета, живя в Европе, был посвящен в некоторые закрытые знания, вскоре он станет одним из мастеров мумификации Ленина, причем бальзамирование вождя будет произведено, по мнению некоторых историков, в контексте этих тайных знаний... Пока же ему было отчаянно скучно в российской провинции, Пастернак эту скуку рассеивал.

Коротая зимние вечера, Борис Леонидович влюбился в Леночку Виноград, очаровательную молодую красавицу, которая тоже работала у Збарского. Вначале отношения казались дружескими, она была любимой девушкой его друга — Сергея Листопада, сына философа Льва Шестова. В 1914 именно Сергей Листопад отговорил Бориса идти на фронт, вскоре сам Сергей погибнет на фронте, Леночка достанется Пастернаку.

В марте 1915 молодой поэт вернулся в Москву, нанялся учителем в семью коммерсанта Морица Филиппа, владельца большого универмага на Лубянке. Пастернак получил для жилья комнату в доме коммерсанта на Пречистенке, он преподавал сыну Филиппа физику, историю, литературу. В мае 1915 случился очередной московский погром немцев, толпа разгромила магазин Филиппа, их московский дом, Пастернаку пришлось прятать своего воспитанника Вальтера Филиппа у друзей в Молодях. В августе 1916 Пастернак уехал к Збарскому в Тихие Горы на Каме, переводил Суинберна, писал новеллы, работал в местном «военном столе» и в призывной комиссии, страна призывала на фронт все новых и новых мужчин. В феврале 1917-го в Тихие Горы доходит известие о революции. На санях, перекладными, Пастернак едет в Москву и снимает себе прежнюю комнатку в Лебяжьем переулке. Леночка Виноград навещает его, лирика этого периода посвящена ей. Пастернак чрезмерно деликатен, позже Леночка напишет в своих воспоминаниях: «Борис Леонидович, по сути своей, был не способен на малейшее насилие, даже на такое, чтобы обнять девушку, если она этого не хотела».

Возможно поэтому Леночка считала, что у них с Борисом нет будущего, тем более, что Пастернак пытается ее воспитывать. Леночка Виноград в это время поступила учиться на Высшие женские курсы, — «росла над собой», как сказал бы один из героев фильма Гайдая, — но Пастернак ругает её за поверхностность, отсутствие цели в жизни, да еще ревнует. Их отношения продолжались до весны 1921, когда Пастернак посвятил ей стихотворение: *«Любимая, безотлагательно. / Не дав заре с пути рассеяться...»*

Кроме того, летом 1915 Пастернак сдружился с Маяковским, поэты теперь часто видятся, читают друг другу свои новые стихи. В сентябре 1916 у Бориса Леонидовича выходит вторая книга стихов, наполненная уже классическими текстами — «Поверх барьеров». Название для книги придумал друг Пастернака поэт Бобров, гонорар за книгу — 150 рублей. Леночка просила Бориса Леонидовича посвятить ей следующую книгу — именно для нее он и стал готовить в печать сборник «Сестра моя жизнь». В это время в стране моден Керенский, Борис и Леночка тоже ходили на выступление Керенского в Большом театре. К октябрьской революции 1917-го Борис Пастернак отнесся прохладно, сохранив полную ясность взгляда на происходящее, в отличие от Маяковского, Есенина. Но при этом покидать Россию отказался, хотя мог бы жить вместе с родителями. Это едва ли не самый удивительный факт в его биографии, учитывая тогдашнюю жизнь в нашей стране: красный террор, голод, гражданская война, диктатура пролетариата... Уже с 27 октября 1917 в Москве было введено военное положение, 29 октября началась орудийная стрельба, на улицах возвели баррикады. Из орудий палили войска «Военно-революционного комитета», на баррикадах оборонялись белые юнкера. В квартиру Пастернака на Волхонке залетали пули, стекла были полностью разбиты, он перебрался жить к знакомому в квартиру на улице Сивцев Вражек. Но Пастернак не уезжает, бродит по революционной Москве, заходит в солдатские казармы, слушает красных пропагандистов. Случайно познакомился в одной из революционных казарм с Ларисой Рейснер. Она была идеалисткой, романтиком революции, Борис и Лариса читали друг другу на немецком стихотворения Рильке среди снующих туда и сюда красных матросов... Когда в 1926 Лариса Рейснер умрет от тифа, Пастернак посвятит ей стихи.

С 1918 в Москве начался голод, крестьяне перестали сеять и жать, вначале потому, что могли сносно жить, продавая даже небольшое количество излишков продовольствия, а затем началась продразверстка, продукты у крестьян теперь просто отнимали, попутно проводя «изъятие ценностей». Четвертая экономика мира тут же рухнула, экономика не любит войн и революций. Писатели и поэты спасались от голода как могли. В голодном январе 1918 в своей квартире на улице Поварской литературный вечер «Встреча двух поколений поэтов» организовал поэт и меценат Михаил Цетлин, пишущий стихи под псевдонимом Амари. Он был наследником богатой семьи коммерсантов и владелец небольшого московского издательства «Зерна», где с 1915 публиковались Волошин, Эренбург. Уехав в Париж, он станет редактором отдела поэзии в журнале «Современные записки», основателем и редактором парижского альманаха «Окна». Ко всему прочему, Цетлин был двоюродным братом Иды Высоцкой. На вечере у Цетлина Пастернак и Цветаева оказались за одним столиком рядом, впервые обстоятельно поговорили. Стихи участников вечера Цетлин опубликовал позже в альманахе «Весенний салон поэтов», вышедшем весной 1918 в его же издательстве. Пастернак в это время пытался написать свой первый роман. Чуть позже начало не получившегося романа Пастернак опубликует под названием «Детство Люверс». Еще одно начало романа, под рабочим названием «Три имени», он сжег в печке на Волхонке в 1932 году, когда уходил с Зинаидой Николаевной в квартирку на Тверском бульваре. Героини обоих не написанных романов — женщины. В романе «Три имени» главная героиня, Евгения

Викентьевна, тоже носит фамилию Люверс. Девичья фамилия его первой жены — Лурье, правда, познакомятся они лишь в 1921, — видимо тут есть какая-то перекличка с подсознанием Бориса Леонидовича... Пастернак характеризует свою героиню в письме Марковой так: *«женщина этого сияющего, смеющегося, счастливого и веселого рода»* (1959). Похоже, именно такие женщины — открытые, веселые, сияющие от счастья, — больше всего нравились Пастернаку. Ни Цветаева, ни Евгения Владимировна Лурье такими женщинами не были, если только Евгения Владимировна в ранней молодости.

Чтобы добыть хоть немного денег, в 1918-м Пастернак вынужден поступить на работу в «Комиссию по охране культурных ценностей», созданную Горьким. Эту комиссию возглавлял Брюсов, они занимались выдачей «охранных грамот» библиотекам, художественным собраниям, зданиям... Одно из произведений Пастернака позже так и будет называться — «Охранная грамота». Затем для Пастернака нашлась новая работа, Горький организовал в Москве государственное издательство «Всемирная литература», там неплохо платили. Пастернак ухватился за возможность зарабатывать пером, начал переводить трагедии Клейста, стихи Гете, Суинберна. Как только получил первый гонорар — сразу уволился из «Комиссии» — ходить ежедневно на службу для него было тяжело, он говорил, что служба разрушает особое состояние души, особое видение мира, необходимое поэту и писателю для успешной работы.

Тем временем голод усиливался, надо было уже бороться за существование. Летом 1918 родители Пастернака и его сестры жили на даче у издателя Штибеля, недалеко от очаковской платформы по Киевской железной дороге. Там им выделили землю для огорода, где они выращивали для себя картофель и другие овощи. Борис приезжал туда по выходным, участвовал в прополке овощей, поливе, окучивании картошки. Осенью 1918 Борис заразился «испанкой», едва не умер. Этой же осенью, после покушения на Ленина, начался знаменитый красный террор, который не прекращался, по сути, до 1953. Зимой 1919-1920 коммунисты начали «уплотнения» жилищ. Некоторых из «бывших» просто выгоняли из квартир на улицу, в подвалы, сараи. Пастернакам еще повезло — из уважения к отцу-художнику их просто уплотнили: в когда-то купленную ими квартиру (не полученную бесплатно) въехало два десятка человек.

Зима 1919-1920 в России была очень холодной, снег лежал на земле с начала октября, топить печь было нечем. Пастернак, чтобы обогреться, по его же словам *«...переродился и пошел дрова воровать у Ч.К., по соседству. Так постепенно с сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. — Видите, вот и я — советский стал»* (в письме Петровскому, апрель 1920). Запас жизнеспособности у Пастернака был огромный, гибкость феноменальная, иначе бы ему не спастись. В ноябре 1919 уплотнили Цветаевых и Фрайденберг. В питерской квартире Фрайденбергам оставили одну комнату с жестяной буржуйкой вместо батареи. Ольга Фрайденберг записала в дневнике: «Жизнь пустела. Профессора умирали. Живых арестовывали». Умер от болезней, голода и холода отец Ольги Фрайденберг. Пастернаки жили в это время тоже очень тяжело, не смогли поддержать умирающего — мать Ольги Фрайденберг сильно обиделась на родителей Пастернака, перестала с ними общаться, а вот дружеские отношения между Ольгой и Борисом сохранились.

Голодной зимой 1919 Пастернак и Цветаева встретились на улице. Цветаева в одном из писем Пастернаку вспоминала: «Вы несли продавать Соловьева — потому что в доме совсем нет хлеба. / — А сколько у Вас выходит хлеба в день? / — Пять фунтов. / — А у меня три...»

Чтобы прокормиться, летом 1920 Борис Пастернак с сестрой Лидией уехали в Касимов, поближе к земле. Дядя Бориса и Лидии — мамин брат Осип Исидорович Кауфман, — работал в Касимове врачом. На своем дачном участке он развел большой огород, чтобы помочь московским родственникам. Боря и Лида поливали огурцы, сушили картошку, со-

лили капусту. Осенью возвращались в Москву на пароходе, груженые мешками и бочками. Марина Цветаева не была столь практична, той голодной зимой она потеряла дочь Ирину в Кунцевском детском приюте.

В 1921 Гражданская война закончилась. Ленин, Троцкий, Сталин, Бухарин думали, как наладить жизнь в стране, теоретическая мысль советских лидеров металась от военного коммунизма к новой экономической политике. Но тут здоровье Ленина стало сдавать, у него проявились первые признаки ишемии мозга, болезнь стремительно прогрессировала, в Кремле началась борьба за власть. Весной 1921 семью Пастернака-отца в очередной раз пытались уплотнить и даже выселить из квартиры на Волхонке, спасло лишь заступничество Луначарского. После этого Леонид Осипович и решил уехать из России, не дожидаясь, пока его выкинут с детьми на улицу. Он попросил Луначарского устроить ему с семьей поездку в Германию «на год-два для лечения». Вначале за границу семья командировала сестру Бориса — Жозефину. Она поступила учиться в Берлинский университет и подыскала в столице Германии квартиру. В августе 1921 Леонид Осипович Пастернак с женой и дочерями уехал в Берлин, оставаясь советским подданным. У Бориса были все возможности тоже уехать, но он этого не сделал. Когда в Германии к власти придет Гитлер, Леонид Осипович с семьей переберется в Лондон. Советское правительство не лишало его советского гражданства, потому что каждый год 7 ноября благоразумный Леонид Осипович посещал Советское полпредство, и еще он никогда не критиковал советскую власть.

Скульптор Масленикова, близкая к Пастернаку в последние годы его жизни, как-то спросила — не жалеет ли Борис Леонидович, что не уехал с родителями в западную Европу? Пастернак признал, что за границей ему *«было бы проще»*, но считал, что в этом случае его жизнь и творчество *«были бы мельче»: «творческими соками подпитывает только родная земля» (4)*. Меж тем, оставаясь в России, Пастернак сильно рисковал. Многие из его друзей стали жертвами режима, он сам несколько раз превращался в объект жесточайшей травли. При этом он хотел иногда ездить за границу, но жить — лишь на родине! Говорил в самые жестокие моменты травли: *«если вышлют из России — сделаю как Марина»*, имея в виду Цветаеву. Вот скажите, где прожила вторую половину жизни дочка Сталина? Где сейчас дети Хрущева, Андропова, Горбачева? Все за границей, большей частью в США. Идеи, ценности родителей для них оказались чужими, любовь к родине для них была чем-то эфемерным, а Борис Леонидович готов заплатить жизнью, чтобы не расставаться с Россией. После этого кто-то называет его предателем? Конечно, желаемый образ родины у него был другой, нежели у Сталина и Хрущева, но мировоззрение Бориса Леонидовича явно ближе многим сегодняшним россиянам, нежели мировоззрение, мечты и методы Сталина и Хрущева.

Летом 1921 Пастернак познакомился с девушкой, вскоре ставшей его первой женой, — Евгенией Владимировной Лурье. Евгения приехала в столицу из Питера учиться во «ВХУТЕМАС», образованный в Москве слиянием «Училища живописи» и «Строгановского училища». Вначале она подружилась с Александром, братом Бориса, затем на неё обратил внимание и сам поэт. Евгения была очаровательна — молодая, красивая, доверчивая… Пастернак пригласил ее прийти за красками, оставшимися от отца. Вскоре Борис Леонидович напишет об этих встречах у него дома: *«О как она была смела, / Когда едва из-под крыла / Любимой матери, шутя, /Свой детский смех мне отдала / без прекословий и помех —/ Свой детский мир и детский смех…»* Она была ребячлива, наивна, мужчинам это нравится, к январю 1922 Пастернак понял, что влюбился в Евгению. Он поехал в Петроград к матери своей невесты просить руки любимой девушки. Молодой Пастернак не понимал, что инфантильность Евгении Владимировны не следствие возраста, а свойство характера и ума. Она всю жизнь будет оставаться незрелой, по детски эгоистичной.

Николай Вильмонт, шурин Александра Пастернака, напишет позже в своей книге о знакомстве с Евгенией: «На Волхонке, 14 водворилась новая хозяйка, первая жена поэта, Евгения Владимировна Пастернак, урожденная Лурье... она неожиданно заявила мне, что очень огорчена переменой фамилии:

— Я так просила Бореньку, чтобы он принял мою девичью!

Не дав мне проронить ни слова, Борис Леонидович с каким-то покривившимся лицом уже загудел с явно наигранной веселостью:

— Видите, какой она еще ребенок?.. Но простите, Коля, я пойду ставить самовар.

Ни с того ни с сего Евгения Владимировна мне поведала, что их поженил ее брат:

— Сеня, он самый умный в нашей семье, прямо сказал Боре, чтобы он на мне женился.

Я ушел непривычно рано с тяжелым чувством. В какое смешное положенье она его ставила! ...Мне нравилось, когда она молча лежала на тахте... Но, к сожалению, она не всегда молчала... Их совместная жизнь продолжалась еще семь лет... у них установился даже какой-то особый обряд: негодующая Евгения Владимировна уезжала в Петроград «пожить у мамы»; потом начинались переговоры по междугородней телефонной сети, и Борис Леонидович выезжал в Бологое, где супруги благополучно воссоединялись ...и опять водворялись на Волхонке для очередного медового месяца, иногда обрывавшегося на четвертом дне.

— Вот опять еду в Бологое, Коля, — сказал мне как-то Борис Леонидович, морщась, с тоскою в глазах и голосе...

— Скачете, как Людовик Баварский?

— Да, я и сам об этом подумал, — сказал он. — Вы опять догадались... Но я вас умоляю, Коля, никогда не распространять своей прозорливости на эту зону. Она — запретная» (5).

В 1920 и 1921 Пастернак вовсю дружил с Маяковским. Они читали друг другу новые стихи, Пастернак иногда ездил в Пушкино, где у Бриков каждое лето жил «первый поэт СССР». Пастернака раздражали Брики и вообще окружение Маяковского, которое он называл *«случайной, наспех набранной и всегда до неприличья посредственной кликой»*. Не утруждающий себя манерами, иногда попросту хамоватый Маяковский к Пастернаку относился все же подчеркнуто хорошо — к примеру, энергично защищал Пастернака на поэтическом вечере в московском Доме печати в марте 1921. Литературные современники считали Маяковского и Пастернака лучшими поэтами послереволюционной России, а третьим русским поэтом в эти годы считался Асеев. Сейчас это кажется странным, ведь был жив Есенин, Блок умер лишь в августе 1921-го, вовсю работали Мандельштам, Цветаева, Ахматова... Но Есенин много пил, несколько раз лежал в психбольнице, стихи Цветаевой и Ахматовой мало кто видел, а Блок после «Двенадцати» почти ничего не писал. В мае 1921 Блок приезжал с выступлениями в Москву, Пастернак успел с ним познакомиться. Маяковский и Пастернак отправились на поэтический вечер Александра Александровича, там Струве публично называл Блока «внутренне мертвым», с чем тот спокойно соглашался. Блок долго работал в советских учреждениях, в том числе в «Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров». Некоторых вещей поэтам, писателям и священникам все же делать нельзя — кощунствовать, работать в судах, приближаться к политике, заниматься ростовщичеством, сутенерством, торговать водкой, наркотиками... А поэма «Двенадцать», на мой взгляд, кощунственная вещь. Именно после того, как Блок написал поэму «Двенадцать», у него заболело сердце (эндокардит), обострилась астма, началась цинга, появились проблемы с психическим здоровьем, он стал говорить, что «меня выпили». К весне 1921 он разочаровался в советской действительности, отчаянно просил выпустить его из страны «для лече-

ния» хотя бы в Финляндию, но в Кремле ему подписали разрешение на выезд только 1 августа, когда Блок находился при смерти. Получив 12 июля 1921 очередной отказ в разрешении выехать за границу, он впал в тяжелую депрессию, отказался от приема пищи, лекарств, чтобы умереть 7 августа от эндокардита и банального истощения. Несколько дней до смерти он тяжело бредил и волновался — все ли экземпляры «Двенадцать» уничтожены? Мы не знаем, как именно отнеслось Небо к этому произведению, но время и обстоятельства смерти Блока чрезвычайно красноречивы.

Пастернак в это время даже в мыслях не противостоит советской власти, хотя живется ему тяжело. В родительской квартире у него никогда не было собственной комнаты, он долго жил вместе с братом. А весной 1921 появилась перспектива потерять и это. «Наркомпрос» потребовал от Леонида Осиповича Пастернака выехать из квартиры. Леонид Осипович предпочел уехать в Германию, оставшихся в Москве его сыновей Бориса и Александра несколько раз пытались выселить. Воюя за свою комнату, Пастернак все же закончил книгу «Темы и вариации». В это время на него сильное впечатление производит книжечка Цветаевой «Версты». Вильмонт принес эту книгу к Пастернаку вначале 1922, тот *«...ахнул от открывшейся бездны чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало... Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском»*. Пастернак тут же захотел разыскать Цветаеву, но Марина Ивановна уже выехала в Берлин, чтобы встретиться там с мужем. Пастернак отправил вдогонку Марине Ивановне восторженное письмо, а в июне 1922 сам засобирался в Берлин, собираясь увидеть Цветаеву и родителей, пожить немного в комфорте, выступить вместе с Маяковским в германской столице.

«Железного занавеса» еще не существует, но выпускали из России не всех, запрет на выезд был у Блока, Ахматовой, Булгакова... Перед отъездом в Берлин Пастернака пригласил к себе в Кремль Троцкий, мотивируя приглашение желанием написать эссе о современных поэтах. С полчаса они разговаривали, Троцкий спрашивал, почему Пастернак воздерживается от стихов и высказываний на общественную тему. Борис Леонидович отвечал в своем стиле: «индивидуализм есть новая социальная клеточка нового социального организма». Троцкий спорить не стал, хотя индивидуализм в России планировалось подавлять. Дискутировать было не время — пусть поэт надеется на лучше, а то может и не вернуться. Очерк о Пастернаке Троцкий не написал, сказал, что не смог «пробиться» к поэту и Троцкому веришь в этом случае. У Пастернака совершенно другие ценности — общечеловеческие, как сейчас их именуют, — да еще предельно усложненная ткань стиха, когда поэт пишет о своей рефлексии, не комментируя «потока сознания», превращая стихи в ребус для разгадывания. Чтобы понять эти стихи, надо знать очень многое, в них сложнейшая игра смыслов и символов, к каждому тексту надо писать пространные комментарии. Не смогли пробиться к Пастернаку впоследствии Ходасевич, Белый, Горький и еще очень многие — потому что у них не было его писем и дневников, которые заменили нам комментарии. Не понимая Пастернака, пролетарские критики брали какую-нибудь одну особенность и навешивали таблички, например — «индивидуалист». Вот ведь какой подлец (в пролетарском смысле): не хочет «задрав штаны бежать за комсомолом» (бедный Есенин после этой пробежки оказался в петле в «Англетере»), все о своем, о буржуазном! Непонятное, сложное творчество Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Булгакова, Платонова вскоре будет объявлено «не нашим».

Да, Пастернак бегать за временем не собирался. Как раз в эти месяцы он выдохнул свое знаменитое: *«В кашне, ладонью заслонясь, / Сквозь фортку крикну детворе: / Какое, милые, у нас / Тысячелетье во дворе?»* Эти стихи советские критики ему годами будут припоминать как мани-

фест «отсталой» оторванности от жизни. На самом деле, все интересующиеся поэзией и тем более пишущие стихи понимают, что некоторая отстраненность от непосредственной жизни необходима поэту и писателю, любой художник чуточку отодвигается от натуры, чтобы писать не ее часть, а всю в полноте, ведь «большое видится на расстоянии». Но советским критикам надо выполнить заказ власти — чтобы публиковаться, получить квартиру, зарплату, издать свою книгу за государственный счет, «идти в ногу со временем». А настоящий, большой поэт, прозаик, художник, музыкант, когда речь заходит о творчестве (вне творчества он часто меркантилен, расчетлив, эгоистичен, как бывали такими Пушкин, Лермонтов, Есенин, Бунин, Горький, Набоков, Цветаева) думает совсем о другом. Он летает, сквозь пространство и время разговаривая с Богом, разумной вселенной, будущим человечеством. Да, в большей степени с не родившимися поколениями, нежели с современниками, он соглядатай вечности в своем времени. Он умеет подниматься на вершины духа и смысла, и там у него, облученного высотной радиацией, меняется цвет глаз, выгорают волосы, становится смуглой кожа... Неспроста есть странный, не до конца объясненный факт — любовь творческих людей к высоте, горам, птицам. Чехов очень любил птиц, всем известны стихи о Кавказе Пушкина и Лермонтова, Толстой в конце жизни хотел бежать на Кавказ, Набоков ездил в горы ловить бабочек, Пастернак обожает Грузию...

Но мы отвлеклись. В октябре 1922 Пастернак с женой Евгенией через Петербург — успев повидаться там с Ахматовой и Мандельштамом, — выехал в Берлин. Цветаеву в Германии он не застал, Марина Ивановна поспешила закончить берлинский роман с Бахрахом, перебралась к мужу в Прагу. Одновременно с Пастернаком в Германию прибыл Маяковский, они договорились еще в Москве о совместном поэтическом вечере в Берлине. На этом вечере Маяковский читал «Прозаседавшихся» и поэму «150 миллионов», а Пастернак — стихи из книги «Сестра моя жизнь». Среди слушателей находились Эренбург и Шкловский. Маяковский был мрачен тогда, в его большой голове, мне кажется, начинался «когнитивный диссонанс» — люди в Германии жили совсем другими проблемами, собеседники поэта говорили, что Маяковского поразили немецкое метро и железные дороги, уже в начале XX века электрички там с грохотом проносились на уровне пятых этажей по грандиозным эстакадам, ныряли в тоннели, вокруг была цветастая, отлаженная, комфортная жизнь и при этом никаких заседаний! Как могло так случиться? Где руководящая роль партии? Как это можно без Ленина, под которым Маяковский себя, судя по стихам, «чистил»? Пастернак в Берлине был спокойнее. Рядом с ним жена, они поселились в уютном пансионате рядом с родителями Бориса Леонидовича, он встречается в Берлине с Ходасевичем, Зайцевым, Белым, Эренбургом, Шкловским... Почти все говорили ему, что пишет он хорошо, но непонятно. А Пастернаку окорачивать, упрощать себя неинтересно, мучительно, а оставлять как есть нельзя, он и без советчиков уже много раз думал об этом. Борис Леонидович позже скажет, что именно в Берлине *«у него появилось чувство, что ему все надо начинать сызнова»*, что *«вода льется мимо рукомойника»*. После Берлина он понемногу станет менять свой метод, потому что если даже непролетарские писатели его не понимают — дело плохо.

Его интересует лишь творчество, эмигрантские идейные разногласия ему безразличны, писалось в Берлине ему плохо, а Евгения Владимировна жестоко скучала по своим родным. Прожив в Германии шесть месяцев, показав супруге Марбург, Берлин, Веймар, Борис Леонидович решает вернуться в Россию. Брат Шура в Москве в это время героически бьется за остатки московской квартиры, ему нужна помощь — надо было вернуться, чтобы не потерять комнаты в Москве. А тут еще Евгения Владимировна забеременела, и у Бориса Леонидовича вдоба-

вок страшно разболелись зубы — кариес и пародонтит с загниванием надкостницы, образованием кист в челюсти. Но, самое главное, чтобы писать, работать, ему нужно было дышать русским воздухом. Они вернулись в марте 1923.

Жизнь в СССР менялась на глазах и не всегда в лучшую сторону. Пастернаку она преподнесла сразу несколько отвратительных сюрпризов. Во-первых, напечатанная в СССР книга «Сестра моя — жизнь» гонораров почти не принесла. Во-вторых, дополнительную комнату для работы ему так и не дали, хотя Демьян Бедный получил квартиру в Кремле. Один из самых способных из молодых поэтов страны с женой и маленьким сыном живет в одной комнате на Волхонке. Александр Пастернак — в соседней. Отдельная комната для работы необходима Пастернаку, это важнейший инструмент для писателя, но Бориса и Александра в 1924 в очередной раз стараются лишить последнего, их пытаются выселить из комнат на Волхонке, снова приходится обращаться за поддержкой к власти, а это подразумевает ответные шаги! Чтобы прокормить семью, Борис Леонидович почти оставляет свободное творчество, отдавая рабочее время переводам иностранных классиков для издательства «Всемирная литература». Там неплохо платили, да и лгать себе и другим переводчику не обязательно. На долгие годы переводы стали тем делом, которое позволяло Пастернаку жить и поддерживать людей, которые ему дороги. А помогал Пастернак очень многим — если составить список только известных нам людей, список получится внушительный.

А в Кремле в это время шла тяжелейшая борьба за власть. Ленин, чувствуя приближение смерти, написал записку съезду РКП(б), которая стала его политическим завещанием. Бронштейн, по характеристике Ульянова: «самый способный человек в настоящем ЦК», но «чрезмерная самоуверенность». С Джугашвили умирающий вождь тоже не церемонится: «Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». Ленин в своем «письме съезду» настаивал на увеличении ЦК до 50-100 человек, предлагая «товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который… более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д.» Партийный аппарат, где к этому времени оказалось много друзей Сталина, отверг эти рекомендации, решив не оглашать письмо на съезде под предлогом, что написано это тяжелобольным человеком. Болезнь Ленина вызывает вопросы до сих пор. К нему приглашали ведущих российских и германских врачей, но все они ставили разные диагнозы — рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, нейросифилис. К окончанию 1922 состояние Ленина резко ухудшилось, он перестал внятно говорить, в феврале 1923 его разбил паралич — правая рука и нога перестали действовать. Весной 1923 его перевезли умирать в Горки, на фотографиях этого времени перед нами человек с безумными глазами. Говорят, он сильно кричал в последние месяцы жизни, охранников приходилось часто менять. Перед смертью наступило кратковременное улучшение, но 21 января 1924 температура вождя повысилась до 42,5 (скорее всего, присоединился грипп), Ленин умер. Илья Збарский, сын приятеля Пастернака, занимавшегося бальзамированием тела вождя, напишет в книге воспоминаний: лечили Владимира Ильича сразу от нескольких болезней, в том числе препаратами от нейросифилиса, но безуспешно. После вскрытия тела официально было объявлено, что у вождя тяжелый атеросклероз. На таком заключении настаивал тогдашний нарком здравоохранения Николай Семашко, что было на самом деле — неясно. Уже с осени 1923 коллеги по партии обсуждали будущие похороны вождя: кремировать или бальзамировать, превратить его жизнь в миф, тело в мумию — или прах закопать? Сталин решил бальзамировать, превратив тело вождя в

святыню, коммунистические мощи, хотя Троцкий был против. Николай Бухарин в одном из частных писем высказался исчерпывающе: «Мы... вместо икон повесили вождей и постараемся для Пахома (мужика) и «низов» открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом».

Первое бальзамирование тела Ленина формалином, спиртом, глицерином наспех сделал профессор Абрикосов. Тело выставили на Красной площади в деревянном мавзолее, внешний вид которого слегка напоминал древние пирамиды. Но мощи на глазах разлагались и тогда, по личному распоряжению Сталина, за дело взялся друг и тезка Пастернака — биохимик, мистик, собиратель сакральных знаний Борис Збарский. Интересно, что уже в 1924 мнение Сталина оказалось важнее желания Троцкого. Лев Давыдович был хорошим трибуном, оригинальным публицистом — это ведь он придумал милитаризацию страны в качестве локомотива экономики, коллективизацию, индустриальные пятилетки, трудовые армии зэков, — но с партийным аппаратом он работать не умел. А Сталин оказался прекрасным аппаратчиком и великолепным психологом. Ле Бон, Фрейд, Ницше тут, как говорится, отдыхают. Когда Ленин умер, Троцкий находился на лечении в Сухуми. Как будто заботясь о здоровье Льва Давыдовича, Сталин убедил его продолжать лечение до самых похорон Ленина, сам же организовал их на день раньше. Троцкого на похоронах не оказалось, Сталин первым шел за гробом вождя, показывая стране и партии, кто настоящий преемник Ленина. Троцкий снова повел борьбу за власть, опираясь на свое красноречие и публицистический талант: в 1924 году опубликовал статью «Уроки Октября», где превозносил себя и Ленина, одновременно принижая роль Сталина, публикуя выдержки ленинского письма к съезду. Этим Троцкий подписал себе смертный приговор. Сталин действовал ассиметрично и эффективно — проводил в ЦК и Политбюро своих друзей, агитировал партийных представителей национальных республик, обещая им большие преференции. Не всегда справедливые границы советских республик, сейчас уже независимых государств, появились в результате этой сталинской работы. В результате к 1925 году в ЦК и Политбюро заседали сплошь люди Сталина — Зиновьев, Каменев, Орджоникидзе, Калинин, Ворошилов... Заручившись их поддержкой, на пленуме ЦК в 1925 Сталин предложил сместить Троцкого с поста председателя Реввоенсовета, лишая его опоры на армию. Троцкий вынужден подчиниться партийной дисциплине, вскоре Реввоенсовет упразднили, а пост Генерального секретаря ЦК КПСС, который уже несколько лет занимал Сталин, после череды партийных постановлений стал самым важным в стране. Пока еще главные решения в стране принимают Пленумы и Съезды партии, в том числе делегаты от национальных республик, поэтому Сталин продолжает с ними активно работать, одновременно наводняя своими кадрами силовые структуры. Вскоре у Сталина не остается конкурентов по влиянию в стране и партии. Троцкого, главного политического конкурента Сталина, накануне 15 съезда партии исключают из ВКП(б), в январе 1928 высылают в Алма-Ату. В 1929 Троцкого изгоняют из страны, развернув на него за границей настоящую охоту.

Сталин объявил о «строительстве социализма в отдельно взятой стране», начиная коллективизацию, а индустриализация и так идет полным ходом. Основные индустриальные гиганты строились на германские, американские кредиты с помощью германских и американских технологических линий. С одной стороны, усиление СССР не входило в планы европейских, американских банкиров и политиков, России отводили роль пушечного мяса в проекте передела мира под прикрытием «мировой революции», а тут «социализм в отдельно взятой стране»... С другой стороны, на Западе развивалась Великая депрессия — возможность продавать свои технологии СССР оживляла западную экономику. Центры мировой политики от проекта «мировая революция» перешли к проекту «мировая война» — они финансировали одновременно и СССР,

и гитлеровскую Германию. Их решено столкнуть в грандиозной войне, чтобы затем властвовать над разрушенной Европой. Сталин, отдадим ему должное, это хорошо понимал. Он мобилизовал СССР, превратив каждого советского человека в маленький винтик хорошо отлаженной государственной машины. Причем абсолютно любой винтик этой машины, кроме самого Сталина, мог быть стремительно демонтирован для переплавки через смерть или заключение.

Пастернак скрытых деталей мировой политики, конечно, не знал. Он чувствовал жизнь кожей, писал стихи, влюблялся, пытался врасти в советскую действительность. Получалось неважно, для новой жизни он совершенно чужой. Да еще семейная жизнь у Пастернака не ладится, они с женой часто живут отдельно. Борис Леонидович пишет Ольге Фрайденберг о супруге и сыне в 1926: *«Они чудесно провели время за границей. У Жени был даже целый месяц отдыха от ребенка, который она прожила одна в местности, о которой рассказывает сбивчиво и восторженно, на берегу озера, близ Тирольских Альп, с экскурсиями в горы, лодками, купаньем и романтикой новых знакомств...»* При этом Пастернак жену почти не ревнует, он влюблен в Марину Цветаеву, а чуть позже душа его будет занята Зинаидой Николаевной Нейгауз — вот ее он будет ревновать люто, до сумасшествия.

Пока Евгения Владимировна отдыхает за границей, Борис Леонидович пишет влюбленные письма Цветаевой и борется с искусами уличных женщин. Пастернак несколько раз предлагал Цветаевой жить вместе, но Марина Ивановна чувствует — это невозможно. Она знает будущее, видит свою могилу в Елабуге — вскоре напишет провидческие строки про кладбищенскую землянику. Цветаева откровенничает с подругой Черновой в феврале 1925: «С Б.П. мне вместе не жить. Знаю. По той же причине, по тем же обеим причинам (Сережа и я): трагическая невозможность оставить Сережу и вторая, не менее трагическая, из любви устроить жизнь, из вечности — дробление суток. С Б. П. мне не жить, но сына от него я хочу, чтобы он в нем через меня жил. Если это не сбудется, не сбылась моя жизнь, замысел ее».

Но писать Пастернаку Цветаева продолжает, взаимная «любовь по переписке» многие годы поддерживает обоих поэтов, ведь живется им очень трудно. Пастернаку в эти годы настолько тяжело, что он подумывает бросить стихи, ему кажется, что его лирика в СССР никому не нужна. Пастернак решает, что эпоха войн и революция нуждается в эпосе, а он со своей рефлексией тут лишний. Писать, подобно Маяковскому, Есенину и множеству других поэтов поэмы о Ленине, Сталине, ВКП(б) ему мешает врожденная искренность, более тонкая духовная организация. Цветаева в письмах разубеждает Пастернака оставлять поэзию: «Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А потом что? С моста в Москва-реку? Да со стихами, милый друг, как с любовью: пока она тебя не бросит... Ты же у Лиры крепостной».

Поддержка Цветаевой для Пастернака очень важна, понять и принять его стихи в СССР могут пока немногие — он слишком сложен для своего времени. Советским людям, то есть детям русских крестьян, рабочих, еврейских мещан, приехавших в центр из-за черты оседлости, гораздо понятнее примитивные стихи Демьяна Бедного (Ефима Придворова) и его последователей. К тому же стихи Придворова нравились Ленину, Сталину. Поэтому Демьян Бедный в 1918 получил квартиру в Кремле, четырнадцать лет жил там с женой, тещей, детьми и няней, у него прекрасная библиотека, огромные гонорары. В ответ он превозносит в стихах Ленина, Троцкого, Сталина, умело лавируя меж вождями, ответвлениями господствующей идеи. Общий тираж его книг в 1920 годы превысил два миллиона экземпляров, Луначарский говорит о Придворове, как о великом писателе, равном Горькому. О Демьяне написаны книги: «Демьян Бедный в школе», «Демьян Бедный на проти-

воцерковном фронте». Руководитель РАПП Авербах призывает к «повсеместному одемьяниванию советской литературы». Куда там Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой и Пастернаку — им бы в живых остаться, а Демьян Бедный победно шагает по стране, у него дружеские отношения со Сталиным. Иосиф Виссарионович пользуется библиотекой Демьяна, для разъездов по стране Демьяну выделяют отдельный люксовый вагон, он пользуется личным автомобилем вождя. В 1928 у Демьяна открылся диабет, его отправили на лечение в Германию с семьей и личным переводчиком. Сталин в письме ЦК призвал партию решиться на любые расходы ради спасения главного поэта страны. Но тут, наверное, из-за болезни, Демьян допустил несколько политических оплошностей: зачем-то написал в фельетоне о неудавшемся покушении на Сталина, разрушая имидж недосягаемого «полубога», да еще, посетив Германию, Демьян взялся критиковать Россию. Секретариат ЦК ВКП(б) тут же указал поэту на ошибки. Демьян, оторвавшись в Германии от советской действительности, как будто не понимая, что ЦК это Сталин, принялся жаловаться вождю. В ответ получил гневную отповедь за «развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата». Испуганный Демьян стал писать только строго партийные стихи-басни с прямыми цитатами из Сталина, воспел снос храма Христа Спасителя, поддержал гонения на Троцкого, но было уже поздно, Сталин в нем разочаровался. В 1932 Демьяна выселили из кремлевской квартиры, забрав у него библиотеку. В 1935 НКВД обнаружило в бумагах Демьяна дневник, где он ругал членов правительства и брезгливо упоминал «сальные следы», которые оставляли пальцы Сталина на его книгах. Удивительно, как Сталин оставил Демьяна в живых — ограничились тем, что в 1938 Демьяна исключили из ВКП(б) и Союза писателей с формулировкой «моральное разложение».

Но в 1925 моральное разложение Демьяна еще никого не волновало. Придворов-Бедный вовсю строчит свои кощунственные стишки («Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна»), пользуется квартирой в Кремле и машиной вождя, а Пастернака критикуют и «уплотняют». Есенин первым не выдержал новой жизни, Цветаева тоже думает о самоубийстве, просит Пастернака прислать ей подробности гибели Есенина, вырезки из советских газет. Пастернак 11 апреля 1926 написал Цветаевой, остерегая: *«Ты все еще край непочатый. / А смерть это твой псевдоним. / Сдаваться нельзя. Не печатай / И не издавайся под ним».*

У Маяковского пока дела идут хорошо. В 20-е годы Пастернак пытался дружить с Маяковским, несколько раз посетил заседания ЛЕФа, но долго выдержать это невозможно. 31 января 1925 Пастернак описывает в письме Мандельштаму одну из конференций ЛЕФа: *«Ничтожнее, забавнее и доказательнее зрелища я в жизни не видал… Это был абсурд в лицах, идиллический, пастушеский абсурд. Они только что не объявили искусством чистки медных дверных ручек, но уже Маяковский произнес целую речь о пользе мела…».* Маяковский своим идейным конформизмом отталкивал Пастернака, Борис Леонидович в «Охранной грамоте» позже напишет о своих тогдашних отношениях с ним: *«…мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше его понимал…»* Немудрено, Маяковский в эти годы настаивал в речах и разговорах на «необходимости мировой революции», писал примитивные агитки, отрицающие дух и смысл поэзии: «Четвертый интернационал», «Пятый интернационал», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку»… За все это Маяковскому вскоре придется заплатить пулей в сердце, после него таким же образом расплатится с музой еще один удачливый писатель-функционер — Фадеев. Но Пастернак этого еще не знал, он просто чувствует, что ему гораздо ближе творчество Цветаевой и Рильке. Вот что напишет он позже Ариадне Эфрон о своих вкусах 20-х годов: *«В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писа-*

ла тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения».

Вкус у Пастернака безошибочный. Прочитав книгу Цветаевой «Версты», Пастернак обрушивает на Марину Ивановну поток сначала восхищенных, а затем влюбленных писем: *«Наконец-то я с тобой... Я люблю тебя так сильно, так вполне, что становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю»* (25.03.1926). Цветаева в эти годы — первый читатель и критик Пастернака. Она тоже ценит Бориса Леонидовича, хорошо понимая, кто перед ней. Она много раз повторит в письмах и разговорах, что вровень с собой по таланту знает лишь двоих — Пастернака и Рильке. Она писала Леониду Осиповичу Пастернаку о творчестве его сына: «...все его творчество, каждая строка — борьба за суть (естественно для поэта высвобождающейся через слово!) ему ни до чего дела нет. «Трудная форма»... Не трудная форма, а трудная суть». Сближало Цветаеву и Пастернака еще и то, что оба они любили немецкую культуру, немецкий язык и Рильке.

Переписка Цветаевой и Пастернака длилась с 1922 по 1935, но в марте 1926 — это переписка влюбленных друг в друга людей. Прочитав цветаевскую «Поэму конца» Пастернак совершенно потрясен, в начале апреля 1926 он собирается ехать к Цветаевой в Париж, придумывает вменяемый повод: вместе навестить Рильке. Он пишет ей 20 апреля 1926: *«У меня есть цель в жизни и эта цель — ты. ...счастье увидать тебя этим же летом заслоняет для меня все... Если ты меня не остановишь, то тогда я еду с пустыми руками только к тебе и даже не представляю себе куда еще и зачем еще».* Но Цветаева в эти дни только вернулась из Лондона (ездила туда по приглашению Святополк-Мирского), она собирается отправиться к океану с детьми, приезд Пастернака нарушит все ее планы, да и боится она этого приезда. Она едва выжила после чрезвычайно болезненного романа с Радзевичем в Праге, у нее все неплохо поначалу складывается в Париже... Марина Ивановна отказывает Пастернаку во встрече, Борис Леонидович лечится творчеством, пишет Цветаевой: *«Эта боль и называется счастьем. Ты всего не знаешь. Ты усадила меня за работу».* Через пять лет в письме Тесковой Марина Ивановна так объяснила тогдашнюю ситуацию: «Летом 26-го года, прочтя где-то мою Поэму Конца, Борис безумно рванулся ко мне, хотел приехать — я отвела: не хотела всеобщей катастрофы».

Меж тем в декабре 1925 в Европе широко отмечался пятидесятилетний юбилей Рильке. Об этом человеке нужно сказать подробнее. Рильке так напишет Цветаевой о своей жизни: «В 1919 я переселился в Швейцарию, где и живу теперь... в маленьком старом замке 13-го века, в полном одиночестве... Иногда я уезжаю в Париж или Италию. В настоящий момент я не дома, а в санатории». У поэта в это время развивается белокровие, он на глазах слабеет, но диагноза пока нет. К юбилейным поздравлениям присоединился давний знакомый Рильке — Леонид Осипович Пастернак, живущий в Берлине. Он говорит в письме о происходящем в России, приводит высокое мнение Бориса о творчестве Рильке. В марте 1926 Рильке ответил Пастернаку-отцу словами, которые мог написать только очень глубокий человек: «Да, всем нам пришлось пережить немало перемен и прежде всего — Вашей стране. Но если нам и не суждено дожить до ее возрождения, то потому лишь, что глубинная, исконная, вечно претерпевающая Россия вернулась ныне к своим потаенным корням, как это было уже с ней однажды под игом татарщины; кто усомнится в том, что она живет и, объятая темнотой, незримо и медленно, в святой своей неторопливости, собирается с силами... подобно тому как исконная Россия ушла под землю, скрылась в земле, так и все вы покинули ее лишь для того, чтобы хранить ей верность сейчас, когда она затаилась». В этом же письме Рильке говорит о Борисе Пастернаке: «я взволнован известием о том, что не только один Борис, уже признанный поэт нового поколения, продолжает интересоваться мной и моими

работами...» Зная, как важна похвала такого человека, Леонид Осипович пересылает эти слова Рильке сыну. В послесловии к «Охранной грамоте» Пастернак сообщает, как все происходило, мысленно обращаясь к австрийскому классику: *«Моей жены не было дома... Утром того дня я прочел в первый раз «Поэму Конца». Мне случайно передали её в одном из ручных московских списков... ...я вдруг наткнулся на темную для меня тогда еще приписку, что я каким-то образом известен Вам. Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я отошел к окну и заплакал. Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе... В первый раз в жизни мне пришло в голову, что Вы — человек, и я мог бы написать Вам, какую нечеловечески огромную роль Вы сыграли в моем существованье...».* Борис Леонидович всегда подчеркивал влияние на себя Рильке, в 1959 он скажет Окутюрье: *«...в моих собственных опытах, во всей моей творческой деятельности я всего лишь только переводил и варьировал его мотивы ...я ничего не добавил сверх его оригинальности ...я плавал всегда в его водах».*

В это время Борис Пастернак переживал депрессию, у него период творческой неудовлетворенности, личная жизнь не складывается, а тут такая поддержка! Восторженный Пастернак пишет письмо Рильке, прося впредь связываться с ним через Цветаеву. Во-первых, так удобнее, у СССР в это время нет дипломатических отношений и почтовой связи со Швейцарией. Во-вторых, Борис Леонидович хочет приобщить к переписке любимую поэтессу. В письме к Рильке он представляет ее: *«...Марина Цветаева, прирожденный поэт большого таланта... Она живет в Париже в эмиграции. Я хотел бы, о ради Бога, простите мою дерзость... я осмелился бы пожелать, чтобы она тоже пережила нечто подобное той радости, которая, благодаря Вам, излилась на меня».* И вскоре он получает судьбоносное письмо от Цветаевой с запиской от Рильке.

Не могу не сделать маленькое отступление, без Рильке нам не понять Пастернака. Райнер Мария Рильке, один из самых талантливых и глубоких европейских писателей начала XX века, родился в Праге, имея австрийское гражданство жил то в Швейцарии, то во Франции, писал на немецком и французском, и при этом очень ценил Россию. Пастернак встречался с Рильке до российской революции — в поезде на Курском вокзале, когда Рильке и его спутница Луиза Саломе направлялись к Толстому. Луиза была для Рильке человеком судьбы. Ее отцом был русский дворянин немецкого происхождения генерал Густав фон Саломе. 17-летней она влюбилась в голландского пастора в Петербурге, этот пастор и стал называть ее Лу. Кумиром девушки была террористка Вера Засулич. 18-летняя Лу поехала с матерью в Швейцарию слушать лекции в университете — в России высшее образование для женщин тогда не было предусмотрено. Из Швейцарии Лу перебралась в Рим, в одном из литературных салонов ее увидел немецкий философ Пауль Рее. Они вместе отправились путешествовать — посетили Париж, Берлин, — при этом Лу сохраняла девственность, судя по ее предельно откровенным воспоминаниям. В 1982 Рее познакомил ее с Ницше, который тоже влюбился в русскую феминистку. Ницше неоднократно говорил после, что Лу оказалась самой умной из встреченных им женщин. В 1886 Саломе познакомилась с Фридрихом Карлом Андреасом, который влюбился в нее так, что вонзил нож себе в грудь на ее глазах, требуя взаимности. Потрясенная Лу согласилась выйти за него замуж с одним условием — никакого секса! До 30 лет, по ее словам, она оставалась девственницей, добиться взаимности от нее смог первым Георг Ледебур — марксист, будущий член Рейхстага. Тут Лу стала наверстывать упущенное и вскоре, устав от ревности мужчин, от скандалов с мужем и любовником, она оставила их, уехала в Париж. Там она меняла мужчин с калейдоскопической скоростью, всегда бросая мужчин первой. Что-то было в ней садистическое, мужчин она воспринимала как жертв, будто мстила им

за что-то, ей нравилось делать им больно. В 1897 36-летняя красавица Лу познакомилась с очередной жертвой, 21-летним Рильке. Он влюбился в нее с нерастраченной юношеской пылкостью, некоторое время жил с Лу и ее мужем Андреасом в их доме, куда она водила еще и других любовников. По совету Лу Рильке изменил свое настоящее имя Рене на Райнер, он слушался ее как ребенок, подражал даже в почерке. Когда Лу захотела показать ему родину, Райнер начал учить русский язык. В 1899 и 1900 Лу и Райнер предприняли две поездки в Россию. Молодость, любовь, Москва: Рильке пережил что-то вроде духовной инициации. В 1920 Райнер скажет в интервью: «Россия сделала меня таким, каким я стал, внутренне я происхожу именно оттуда, именно она — родина моих инстинктов, мой внутренний исток». Спустя четыре года Лу покинула Райнера — он слишком настойчиво требовал узаконить отношения, а свобода для Саломе была важнее любви. В это время служанка в их доме родила девочку от Андреаса и бесплодная Лу занялась воспитанием ребенка, удочерив малышку. В ее старости эта девочка станет для нее самым близким и родным человеком. В зрелом возрасте Саломе увлеклась психоанализом, подружилась с Фрейдом и его женой. В соавторстве с Анной Фрейд Лу напишет книги с говорящими названиями — «Эротика», «Анальное и сексуальное», «Нарциссизм как двойное направление», «Мой Ницше, мой Фрейд».

Когда Лу бросила несчастного Рильке, он женился на скульпторше Кларе Вестхов, очень хотел переехать с ней в Россию, но ничего не получилось. Рильке был слишком мягок, наверное, и слишком увлечен творчеством — в 1902 супруга жестоко загуляла, оставила его, Рильке уехал во Францию, стал работать литературным секретарем Огюста Родена. Жил в Медоне под Парижем, в загородной мастерской гениального скульптора, но часто ездил в Париж, Италию, Швецию, Данию… В 1906 Роден уволил Райнера за постоянное отсутствие, Рильке продолжал колесить по Европе, одно время жил на Капри, где навещал Горького. За эти годы Рильке написал несколько удивительных книг, которые нам еще предстоит освоить. В 1921 уставший, желающий уединения Рильке поселился в швейцарском Мюзо, где создал свои вершинные «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею», так поразившие Цветаеву и Пастернака.

Одним словом, для молодых русских поэтов Рильке был абсолютным небожителем, поэтому, когда Пастернак получил весточку от Рильке, он и был так потрясен. *«Получение этой записки было одним из немногих потрясений моей жизни. Я ни о чем таком не мог мечтать»*, — напишет Пастернак через тридцать лет. В голубом конверте, присланном из Сен-Жиля Мариной Ивановной, лежало два голубых листка: один от нее, на другом Цветаева по-немецки переписала слова Рильке о Пастернаке: «Я так потрясен силой и глубиной его слов, обращенных ко мне, что сегодня не могу больше ничего сказать: прилагаемое же письмо отправьте Вашему другу в Москву. Как приветствие». Пастернак всю жизнь, как величайшую святыню, хранил оба этих голубых листочка. Летом 1960, после смерти Бориса Леонидовича, их вынули из потертого конверта с надписью «Самое дорогое». Этот конверт он всю жизнь носил в своем бумажнике, в кармане пиджака…

А летом 1926, выполняя просьбу наивного Пастернака, Рильке написал Цветаевой ласковые слова: «Дорогая поэтесса, сейчас я получил бесконечно потрясшее меня письмо от Бориса Пастернака, переполненное радостью и самыми бурными излияниями чувств… почему не довелось мне встретиться с Вами… Теперь… я верю, что эта встреча принесла бы нам обоим глубочайшую сокровенную радость. Удастся ли нам когда-либо это исправить?» У Цветаевой от учтивой вежливости европейского классика началась обычная для нее любовная каталепсия. Рильке прислал ей в подарок еще и две своих лучших книги с теплыми надписями. На «Дуинезских элегиях» Рильке опрометчиво надписал: «Касаемся друг друга. Чем? Крылами. / Издалека ведем свое родство. / Поэт один. И

тот, кто *нес* его, / встречается с *несущим* временами...»

В первом же ответном письме Цветаева сразу объясняется в любви к Рильке: «из русской революции (...революция — это страна со своими собственными — и вечными — законами) уехала я — через Берлин — в Прагу, взяв Ваши книги с собой... И я полюбила Прагу — с первого дня — потому что Вы там учились... Почему я к Вам не пришла? Потому что люблю Вас — больше всего на свете» (9 мая 1926). В этом же письме Марина Ивановна обрисовывает свои чувства к Пастернаку: «Бориса я знаю очень мало, но люблю его, как любят лишь никогда не виденных... Он — первый поэт России. Об этом знаю я, и еще несколько человек, остальным придется ждать его смерти». Теперь влюбчивая Цветаева выбирает Рильке объектом своей поэтической любви вместо Пастернака. Борис Леонидович это сразу почувствовал, тем более, что цветаевское письмо с двумя голубыми листочками содержало еще и просьбу — принять участие в судьбе Софии Парнок, бывшей любовницы Марины Ивановны. К письму прилагались стихи из цикла «Подруга», чтобы никаких сомнений у Пастернака не оставалось. Конечно, Марина Ивановна специально отталкивала Пастернака, чтобы Борис Леонидович не мешал её любви к Рильке. А он плачет от боли, пишет любимой: *«Не разочаровывайся во мне раньше времени... не отворачивайся... Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою и любить этот общий воздух» (23.05.1926).*

Марина Ивановна не торопилась отвечать. Борис Леонидович, потеряв голову, в ответ на ее откровения касательно Парнок, пишет Цветаевой о своих искушениях уличными женщинами. Цветаева тут же предупреждает: «Я тебя понимаю издалека, но если я увижу то, чем ты прельщаешься, я залью́сь презрением... Я излечусь от тебя мгновенно... ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи — все. Психею — на Еву! Пойми водопадную высоту моего презрения... Ревность? Я просто уступаю, как душа всегда уступает телу, особенно чужому — от честнейшего презрения, от неслыханной несоизмеримости... Ни одна женщина (исключения противоестественны) не пойдет с рабочим, все мужчины идут с девками, все поэты... Ты не понимаешь Адама, который любил одну Еву. Я не понимаю Еву, которую любят все. Я не понимаю плоти как таковой, не признаю за ней никаких прав — особенно голоса, которого никогда не слышала...» (июль 1926). Боль и ревность Пастернака не уменьшаются, ему надо бы оставить Цветаеву в покое, но в следующем письме к любимой он рассуждает о своем удивительном характере, в котором находит странные черты: *«Ты меня представляешь проще и лучше, чем я на самом деле. Во мне пропасть женских черт. Я чересчур много сторон знаю в том, что называют страдательностью. Для меня это не одно слово ...для меня это больше, чем целый мир ...действительность сведена мною... именно к этой страдательности, и в романе у меня героиня, а не герой — не случайно... У меня гостит сейчас Ник. Тихонов... Вот мущина. В соседстве с ним мои особенности достигают силы девичества, превосходят даже степень того, что можно назвать женскостью... о чем я говорю? Об убийственной власти, которую надо мной имеют видимости, химеры, возможности, настроенья и вымыслы...»*

Бедный Борис Леонидович, эти слова ему диктует страдание. Ничего странного в его характере нет. Большой художник всегда имеет женские черты — даже Пушкин, Толстой и Достоевский, — мужское начало без женского родить не может. В том же письме к жестокой Цветаевой Пастернак признается в любви к своей супруге: *«Мне что-то нужно сказать тебе о Жене. Я страшно по ней скучаю. В основе я ее люблю больше всего на свете...»* После такого признания Цветаева, конечно, просит Пастернака «на выход с вещами», требуя не писать ей больше. Это ее обиженное письмо не сохранилось, но Борис Леонидович сообщает жене в Германию, как бы реабилитируясь за недавнюю любовь к Цветаевой:

«Я сейчас совершенно одинок. Марина попросила перестать ей писать, после того как оказалось, что я ей пишу о тебе и о своем чувстве к тебе. Будто бы я ей написал, что люблю тебя больше всего на свете. Я не знаю, как это вышло…»

Эмоции совершенно захлестнули в этот момент Пастернака, он отсылает Цветаевой еще два письма, в которых тоже просит не писать ему, но при этом говорит, что *«сызнова, как весной, спинным хребтом, виском и всем правым боком, ощутил веянье твоего радостоянья. Весь, шевелящий волоса холод твоей женской валькирической смежности…»* Цветаева не отвечает, погружаясь в любовь к вознесенному на пьедестал, выдуманному ею Рильке. Она сразу берет быка за рога, сообщая классику, что хочет к нему приехать. Рильке, наверное, слегка озадачен, он болен, ему хочется совершить несколько последних в жизни поездок, зачем ему необычайно страстная поэтесса? Рильке живет в Съере, в гостинице «Бельвю», секретарем у него работает молодая русская девушка Евгения Черносвитова. На письма Цветаевой Рильке уже не отвечает. Озадаченная Марина Ивановна шлет ему открытку: «Дорогой Райнер! Ты меня еще любишь?» Ответа нет. Вернувшись из поездки к океану Цветаева узнает, что любимый поэт умер. Она в потрясении пишет умершему другу: «…Райнер, вот я плачу, Ты льешься у меня из глаз! Милый, раз ты умер, — значит, нет никакой смерти… Не хочу перечитывать твоих писем, а то я захочу к тебе — захочу туда — а я не смею хотеть…»

Ей пока рано умирать, петля ждет ее в будущем, сейчас надо как-то жить, а жить без любви Марина Ивановна не умеет. После шестимесячного перерыва, 31 декабря 1926 Цветаева вспоминает о Пастернаке: «Борис! Умер Райнер Мария Рильке…. Увидимся ли когда-нибудь?» На следующий день она шлет Пастернаку еще одно письмо с настойчивым требованием: «…ты приедешь ко мне и мы вместе поедем в Лондон… Я тебя никогда не звала, теперь время. Мы будем одни в огромном Лондоне». Поздно, Пастернак уже боится близких отношений с жестокой и ветреной поэтессой. А в 1935 случившаяся встреча обоим уже не нужна: Пастернак женился во второй раз, для Цветаевой это предательство. После холодной встречи в Париже переписка между поэтами прекратилась. Но Ариадна Эфрон писала Пастернаку в августе 1955, разбирая архив матери: «Как она любила тебя и как долго — всю жизнь! Только папу и тебя она любила, не разлюбливая».

Но мы сильно забежали вперед. Лето 1927 Пастернак с женой и сыном провели в деревне Мутовки, недалеко от Абрамцева. Направляясь в лес за земляникой, купаясь и загорая, Борис Леонидович размышлял о происходящем в стране, сообщая в письме Горькому о неуловимости *«атмосферных превращений»* в России, о *«химическом перерождении каждого её мига»*. Атмосфера в стране, действительно, менялась.

С 1927 советское руководство занялось индустриализацией страны. Чтобы покупать импортные машины и промышленное оборудование нужны были деньги. Какое-то время продержались, включив печатный станок — но рубль тут же перестал быть конвертируемым. СССР тогда продавал за границу бакинскую нефть, лес, сливочное масло, зерно, культурные ценности, пушнину, но в мае 1927 правительство Англии разорвало дипломатические отношения с СССР и расторгло торговое соглашение от 1921 года, объявив советской стране торговый бойкот. От СССР развитые страны принимали теперь лишь зерно, потому что в Европе неурожай, цены на зерно выросли в несколько раз. Более того, под зерно давали кредиты, поэтому Сталину хотелось резко нарастить производство зерна, а частные крестьянские хозяйства с этим не справлялись. У Сталина родилась идея перевести сельское хозяйство на индустриальные принципы. Весной 1929 утвердили план пятилетки с коллективизацией 4,5 миллионов крестьянских хозяйств, одновременно

увеличили налоги для единоличников. На проведение коллективизации мобилизовали «пролетарские элементы и партийно-комсомольский актив». В 1929 мировые цены на зерно еще раз выросли, СССР смог продать его за границу на 88 млн долларов, а в 1930 — даже на 300 млн долларов (по 60 долларов за тонну)! Это были огромные деньги, зерно стали выгребать из крестьянских сусеков насильно и подчистую. Сталин требовал от исполнителей в письме 6 августа 1930: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут». Для крестьян установили непосильные задания по хлебосдаче, особенно тяжелыми нормы оказались в зерновых районах страны: Средняя и Нижняя Волга, Северный Кавказ, Ставрополье, Украина. В январе 1930 Сталин и Яковлев отредактировали проект постановления ЦК ВКП(б), тут же утвержденный Политбюро и опубликованный в «Правде». В указе говорилось о переходе «от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса». Два миллиона попавших под раскулачивание крестьян подлежали высылке, депортации в северные и отдаленные районы страны, еще несколько миллионов молодых и работоспособных крестьян бежало в города, на индустриальные стройки. В результате много земли в зерновых районах страны осталось не вспахано, урожай некому было убирать. Хлеба, собранного на распаханных участках страны, все же было достаточно для страны, но зерно вывозили за границу. Крестьяне видели, что хлеб убирать бесполезно, поэтому на Украине в эти годы на корню осталось 40% урожая, в Поволжье 35%. То, что убрали, власти вывезли «до зерна, под метелку». На Кубани и Украине вместе с зерном забирали картофель. Исполнители приказов, стараясь выслужиться, как у нас часто бывает, перестарались. Кубань, Украину, Северный Кавказ, Поволжье накрыл страшный голод. В Поволжье хлебозаготовками руководил секретарь ЦК П.П. Постышев, В.М. Молотов на Северном Кавказе, Л.М. Каганович на Украине. Несмотря на все драконовские меры, объем зернового экспорта в 1931 уменьшился на 5 миллионов тонн, да еще зерновые цены в 1931 резко упали до 14 долларов за тонну, поэтому стране удалось выручить на хлебе лишь 72 миллиона долларов, но зерно продолжали изымать. Для продолжения индустриализации требовались кредиты, а их давали под хлеб. С 1930 производством зерна занимаются колхозы.

Лишь в апреле 1933 Политбюро ЦК приостановило экспорт зерна из СССР. Мировые цены на зерно сохранялись низкими, у страны появились новые статьи экспорта, а принесенные в жертву крестьяне стремительно вымирали. После 1933 место зерна в экспорте заняли золото Колымы и первые плоды индустриализации — новые советские машины. Сталин добился желаемого — объем производства тяжелой промышленности СССР, выплавка металлов, выработка электричества увеличились в 1930-х в несколько раз. Индустриализация в перспективе позволила выиграть Великую Отечественную войну, мы и сейчас ежедневно пользуемся ее результатами, с 1935 у СССР положительный торговый баланс, то есть экспорт начал превышать импорт за счет продажи сельхозмашин, тракторов, автомобилей, удобрений... Всё понимаю, но почему даже сейчас так болит сердце, когда думаешь о крестьянах?

Советская власть меняла весь уклад жизни, мировоззрение своих людей — развернулась борьба с ненужной для коммунистов религией. Период с 1932 по 1937 в СССР назвали «безбожной пятилеткой». Активистам «Союза безбожников», численность которого достигла 5 миллионов человек, платили зарплаты, давали путевки и жилплощадь — атеизм стал профессией для многих людей! На Втором «съезде безбожников» в 1929 выступали Бухарин, Луначарский, Горький, Бедный, Маяковский и, конечно, возглавляющий этот союз Емельян Ярославский. Маяковский закончил свою речь словами: «Товарищи, обычно дореволюционные ихние собрания и съезды кончались призывом «с богом», — сегодня съезд кончится словами «на бога». Вот лозунг сегодняшнего писателя».

Очень скоро Маяковскому придется расплатиться за такие лозунги пулей в сердце, безбожные пятилетки неизбежно закончатся великой войной и возрождением веры, но в 1930-х в СССР «исполнители приказов» ретиво сносили храмы, мечети, синагоги, запрещали звон колоколов, пасхальные праздники... В 1935 «самоликвидировался» Патриарший Священный Синод (им управлял Патриарший местоблюститель Сергий (Страгородский), заодно уничтожили и Синод обновленцев. В октябре 1937 пленум ЦК ВКП(б) принял директиву — «в ближайшие дни обеспечить оперативный разгром церковного и сектантского контрреволюционного актива». По данным Ежова только с августа по ноябрь 1937 арестовали 31359 «церковников и сектантов», из них расстреляно 13671 человек. При этом, в ходе переписи населения 1937 года, 55 миллионов человек из 98 взрослых, подлежащих переписи, продолжали называть себя верующими...

В городах продовольствие выдавали по карточкам, соцслужащие и мещане пользовались относительной свободой и городскими удобствами. Немудрено, что сельская молодежь хлынула в города, создав невиданный дефицит жилья. Ольга Фрайденберг записывала в дневнике: «Квартирные условия становились все тяжелей... Правительство начало поощрять раздел квартир. Мы хотели отделить себе две комнаты, а остальные отгородить... Но жулики, стоявшие во главе домоуправления, захотели эту квартиру для себя. Одиннадцать судебных процессов! И двадцать два обследования нашей квартиры различными комиссиями, в любое время врывавшимися в дом. Наша квартира была обращена в груды строительного мусора. Мы жили в грязи и пыли среди балок и сломанной штукатурки. К нам выстроилась очередь вселяющихся в нашу квартиру чужих людей. Мы проиграли дело во всех инстанциях... Нам предъявили иск в такую сумму, что мы лишались не только квартиры, покоя, независимости, но должны были продать все свое имущество и остаться нищими... То было время становящегося сталинизма, разгрома крестьян... мы пока что принимали это в виде продолжающейся революции с ее жаждой разрушения... длинные эшелоны «раскулаченных» — ссылаемых крестьянских семей, целые поезда, целые деревни... (1929)» (3)

У Пастернака, в материальном плане, жизнь устраивалась неплохо: жена отдыхала в Геленджике, крымском санатории «Курпаты», под Можайском в пансионе Кончаловских — Борис Леонидович мог один работать в своей комнате на Волхонке, ему хорошо платили за переводы, друзья и подруги развлекали по вечерам. Правда, с Маяковским он окончательно разошелся, но оставались ещё Пильняк, Бобров, Асеев, Мандельштам, Федин, Мейерхольд, Тихонов... Маяковский вовсю критиковал «отложившегося» от него Пастернака: «мы действительно разные, вы любите молнию в небе, а я в электрическом утюге». Маяковский сделал свой окончательный выбор, как и Демьян Бедный стал писать примитивные агитки, пользуясь большим успехом: у него первая в России иномарка в личном пользовании, он то и дело ездит за границу, его книги выходят миллионными тиражами. А Пастернак в это время поэт для интеллигенции, его книги издаются скудно, хотя критики продолжают его хвалить. Пастернак внутренне надломлен, он попытался врасти в новую жизнь, вымучивая из себя поэмы «1905 год» и «Лейтенант Шмидт», прекрасно понимая, что эта работа не высшего качества. Про свою поэму «1905 год» он говорит в письме Федину: *«...на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки со временем».* Пролетарская критика сдержанно похвалила Пастернака за эти поэмы, ожидая большего, а Цветаева с усмешкой назвала успех «1905 года» в СССР «похвальными листами за благонравие». Пастернак злился на себя, в письмах он говорит о своей «безличной уступчивости», запрещая друзьям хвалить эти поэмы. Ольга Фрайденберг, приезжая в Москву

в 1929, «сфотографировала» для нас тогдашнего Пастернака: «...у него болели зубы. Женя находилась в Крыму. В огромной дядиной казенной квартире Борю третировали коммунальные жильцы с их пятнадцатью примусами и вечно осаждаемой уборной. В ванной, передней и в коридоре жили... Ночевала я у него. Мы, как в детстве, лежали в одной и той же комнате и переговаривались со своих постелей» (3). В анкете Союза писателей, в графе жилищные условия, Пастернак жалуется: *«Старая отцовская казенная квартира переуплотнена до крайности... Столовая помещается в комнате где работаю, и тут весь день шум и толчея... Отовсюду обложен звуками, сосредоточиться удается лишь временами в результате крайнего, сублимированного отчаяния, похожего на самозабвение. Настоятельно нуждаюсь в перемене квартиры...» (6)*

Но его временные проблемы не так страшны, по сравнению с катастрофами у других. 14 апреля 1930 застрелился Маяковский. Пастернак навзрыд плакал над умершим. По словам Розенфельда: «Он ходил по комнате, не глядя, кто тут есть, и, натыкаясь на человека, он падал к нему на грудь, и все лицо у него обливалось слезами». Пастернак подавлен, он стал хлопотать о поездке за границу с женой и сыном, но разрешения на выезд ему не дают. Пастернак обращается за помощью к Горькому, пишет, что крайне устал и «что-то оборвалось внутри». Но Горький отвечает из солнечного Капри: «очень советую Вам не ходатайствовать о выезде за границу ...недавно выехал сюда Анатолий Каменский и сейчас он пишет гнуснейшие статейки в «Руле», читает пошлейшие «доклады»...».

Железный занавес перед Пастернаком захлопнулся. После двадцати лет свободы «домашний арест» кажется тягостным, Пастернак в тяжелой депрессии, он пишет матери: *«Дорогая мамочка!... Я очень устал. Не от последних лет, не от житейских трудностей времени, но от всей своей жизни» (6.03.30).* Поэт начинает в стихах и письмах прощаться с близкими — неизвестно, чем это могло закончиться, если б не Зинаида Николаевна Нейгауз.

Познакомились семьи Пастернак и Нейгауз еще в 1922, когда в Москву из Киева переехали с семьями пианист Генрих Густавович Нейгауз и его друг, историк философии Валентин Фердинандович Асмус. Они дружили в Киеве, теперь держались вместеи в Москве. Позвала Пастернака в гости, случайно увидев его на улице, жена философа Ирина Сергеевна Асмус. Страдающий от одиночества Пастернак пришел вечером и просидел у киевлян всю ночь. Началась его многолетняя дружба с семьями Асмусов и Нейгауз. При этом Ирина Сергеевна Асмус была немного влюблена в Пастернака, а он симпатизировал Зинаиде Николаевне. В девичестве Зина Еремеева, в браке Нейгауз, была яркой молодой женщиной с экзотическим набором генов: караимских, русских, итальянских. Мать Зинаиды вела свой род от итальянского семейства Джиоти. В 1818 году в метрической книге Евпатории сделана запись: «отставной подпоручик Николай Джиоти с Елисаветою, выкрещенной из караимского еврейского закона первом браком обвенчаны». Караимские корни Зины уходили к Илье Кийкчи, охотнику и звероводу в ханском зверинце на мысу Бурунчак, возле караимской столицы Чуфут-Кале, неподалеку от Бахчисарая. Караимы — тюркский народ, потомки хазар, традиционно исповедующие одну из разновидностей иудаизма. В переводе с караимского Кийкчи — «ловец диких животных». Семья Джиоти до конца 19 века продолжала жить в Крыму, именно в Севастополе в конце 1880-х встретились родители Зины — Ольга Джиоти и Николай Еремеев, специалист по военным фортификациям из Петербурга. Одно время он был главным конструктором на Адмиралтейских Ижорских заводах Петербурга, по его проекту выстроена Морская библиотека в Севастополе, он успешно командовал русскими войсками в Болгарии во время последней русско-турецкой войны. К 36 годам он

уже полковник, в 57 — генерал-майор. В старости он владел собственной каменоломней «Еремеев и К», что находилась в 38 километрах от Петербурга в поселке Саблино. Масштаб добычи бутовой плиты здесь был таков, что из Германии пришлось выписать собственный паровоз, до Саблино проложили железную дорогу. Отец Зины отображен в романе Пастернака: *«Мы жизнь приняли как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили»*, — так говорит один из героев «Доктора Живаго». Зине было 10 лет, когда отец умер от ишемии сердца. Первым мужем Зины стал блестящий музыкант, будущий профессор Московской консерватории Генрих Нейгауз — человек высочайшей культуры, игравший Шопена, Скрябина безукоризненно точно, при этом виртуозно импровизируя. Широта его духовного кругозора поражала всех, он любил философствовать, говорил, что «музыка училась у птиц, у шелестящих листьев, завывающего ветра и ревущего водопада… но затем ушла в самую чувственную из абстракций… музыкой наполнены лирика Верлена, Рильке, Блока, Пастернака…» Асмус же был профессиональным философом, семьи встречались почти ежедневно, то есть Зинаида Николаевна с молодости жила в атмосфере культурных и духовных поисков, хотя сама искусством не занималась. Анна Ахматова называла ее «воплощенным антиискусством», ревниво удивлялась — что Пастернак нашел в ней? На самом деле Зина, конечно, не была таким уж «антиискусством». Как и Софья Андреевна Толстая она оставляла творчество мужчинам, сама занималась их бытом, сделав этим для музыки и литературы больше, чем некоторые писатели и музыканты, ведь хорошая жена для писателя значит очень много.

Начиная с весны 1930 Пастернак зачастил к Нейгаузам и Асмусам, рассказывая в письме родителям: *«до 6-ти часов утра пили, ели, играли, читали и танцевали фокстрот»*. У Евгении Владимировны в это время разыгрался бронхит, врачи боялись туберкулеза, по правилам тогдашней медицины советовали ехать в Европу. Жена Пастернак хотела отправиться туда с мужем и сыном, но Борису Леонидовичу снова не дали разрешения на выезд за границу. После смерти Маяковского у Пастернака очередная потеря — арестован и расстрелян лефовец Владимир Силлов. Пастернак расстроен, подавлен, ведь убивают не только поэтов. Эшелонами везут на Север репрессированных крестьян, весь привычный уклад жизни страны ломают через колено. Пастернак написал сестре Лидии за границу: *«Сейчас все живут под очень большим давлением, но пресс, под которым протекает жизнь горожан, просто привилегия в сравнении с тем, что делается в деревне»*.

Пастернак дышит воздухом, отравленным государственным насилием, он тоже думает о самоубийстве, в его стихах сквозят прощальные мотивы, он пишет сестре Лидии в феврале 1930: *«Я стал отягощать искусство прощальными теоретическими вставками, вроде завещательных истин, в каком-то не оставляющем меня чаяньи моего близкого конца, либо полного, физического, либо частичного… Не все ли равно»*. Ольге Фрайденберг в июне 1930 он сообщает: *«Я боюсь, что если не напишу сейчас, этого никогда больше не случится. Итак, я почти прощаюсь. …чувство конца все чаще меня преследует… У меня нет перспектив, я не знаю, что со мной будет»*.

Пастернаку 40 лет, у творческих мужчин в этом возрасте ревизия ценностей, подведение первых итогов: кто ты такой, ради чего живешь, чего добился? Пастернака ответы на эти вопросы явно не радовали, и улучшений не ожидалось. Писать очередного «Лейтенанта Шмидта» ему не хотелось, а работать искренне и в полную силу не давали. Это осмеливались делать Андрей Платонов (Пастернак встречался с ним у Пильняка), который создавал в это время «Котлован» и «Чевенгур», полные ужаса от происходящего; сам Пильняк в «Повести непогашенной луны»; Бабель в «Конармии»… Но Платонова не публиковали, Пильняка сняли с поста председателя Союза писателей, Бабеля за его правду в «Конар-

мии» Буденный назвал «дегенератом от литературы», а Сталин угрожающе прорычал:«Бабель пишет о вещах, которых не понимает». Гумилева и Клюева к этому времени уже расстреляли, Есенин и Маяковский привели приговор в исполнение сами. Лидия Чуковская арестована в 1926, Даниил Хармс в 1931, Юрий Домбровский в 1933, Ярослав Смеляков в 1934, а ведь были еще десятки других, менее известных, репрессированных писателей.

Летом 1930 компания друзей — Нейгаузы, Асмусы, брат Пастернака Александр и сам Борис Леонидович, — решили снять на лето дачи под Киевом, потому что голод на Украине пока не начался, а в Москве уже перебои с поставками продовольствия. В Киев командировали Зинаиду Николаевну, как самую энергичную и практичную часть компании, чтобы она все подготовила к приезду основной группы. Зинаида Николаевна сняла четыре дачи в пригороде украинской столицы, арендовала рояль в Киеве, привезла его в Ирпень на подводе, вернулась в Москву подгонять своих творческих друзей. Четыре семьи выехали в Ирпень с детьми, посудой, бельем, своими матрацами! Евгения Владимировна отправилась вместе с друзьями, а Пастернак задержался в Москве по литературным делам. 22 июня 1930 в Ирпень приехал и он, затем туда нагрянул Вильмонт — шурин Александра Пастернака. Борис Леонидович звал в Ирпень и Ольгу Фрайденберг, но не случилось.

Интеллигентная компания устроилась со вкусом, хотя вокруг было не слишком весело: местных крестьян раскулачивали, к обеспеченным людям, в том числе к Асмусам и Нейгаузам, пролетарские и комсомольские активисты приходили изымать ценности. У Пастернаков ценностей не было. Наши друзья могли ужинать на природе, Генрих Нейгауз играл на рояле, Пастернак читал свои новые стихи... Дачи Нейгауз и Александра Пастернака стояли рядом. Борис Леонидович, ежедневно навещая брата, видел как Зинаида Николаевна хлопочет, стирает, стряпает, моет полы. Борис Леонидович пробовал помогать ей — она лишь смеялась, отгоняя его. А Пастернаку приходилось самому ходить в магазин за продуктами, накрывать на стол, готовить самовар для гостей, он заглядывался на Зинаиду Николаевну, и она, когда Нейгауз уехал куда-то с очередными гастролями, приласкала несчастного поэта. Нейгауз ее не контролировал, у него имелась вторая семья, где росла дочь Милица, ровесница его сына от брака с Зинаидой Николаевной. Пастернак окончательно влюбился.

В сентябре 1930, когда семьи вернулись в Москву, он явился к Генриху Нейгауз и признался, что полюбил его жену. Интеллигентный Нейгауз отнесся к этому «с пониманием и сочувствием» (6). Борис Леонидович, не желая никого обманывать, рассказал о новом чувстве своей жене. Евгения Владимировна вообще «не терпела прекословий» с его стороны, а тут она попросту выставила мужа за дверь. Пастернак коротал время в комнате у брата или ночевал у друзей — чаще всего в квартире Пильняка, который в это время уехал во Францию. От Пильняка и узнала о новой влюбленности Пастернака Марина Цветаева. Генрих Нейгауз снова отправился на длительные гастроли в Сибирь, Пастернак мог часто заходить к Зинаиде Николаевне в гости. Именно в этот период написал он знаменитое: «Никого не будет в доме...» 21 января 1931 года Зинаида Николаевна и Пастернак обручились.

Общаясь с Зинаидой Николаевной, Борис Леонидович не оставлял вниманием и Евгению Владимировну, его мучила совесть, он писал в эти месяцы: *«Не волнуйся, не плач, не труди / Сил иссякших и сердца не мучай. / Ты жива, ты во мне, ты в груди, / Как опора, как друг и как случай...»* Он казнил себя за любовную переменчивость, размышлял о первородном грехе Адама: *«Я уже пережил это. Я предал. / Я это знаю. Я это отведал...»* 5 мая 1931 он, разрываясь между двумя семьями, отправил Евгению Владимировну с сыном погостить к своим родителям в Берлин, сам полностью отдался новому чувству. В июне 1931 Борис Лео-

нидович, Зинаида Николаевна и ее сын отправились на отдых в Грузию.

Поездка на Кавказ оказалась чрезвычайно важной для Бориса Леонидовича. Впоследствии Пастернак назвал это путешествие своим «вторым рождением», а Грузию — своей «второй родиной». Симон Чиковани считал, что к Грузии Пастернак был уже приговорен влиянием Пушкина и Лермонтова: *«Лермонтов ...оказал на меня почти такое же влияние, как Евангелие и пророки» (письмо 1946 года).* А в житейском плане это было свадебное путешествие, Борис Леонидович и Зинаида Николаевна впервые оказались надолго одни, в раю любви, после непрерывных семейных скандалов. Едва оказавшись в Тбилиси, Пастернак попал в дом к Паоло Яшвили на собрание творческой группы поэтов-символистов со странным названием «Голубые роги» (у них ещё и альманах выпускался «Голубой рог»). Яшвили был основным организатором и мотором объединения, а главным талантом считался Тициан Табидзе, который на всю жизнь подружится с Пастернаком. Табидзе учился в Кутаисской гимназии вместе с Маяковским, затем окончил историко-филологический факультет Московского университета, он вместе с Яшвили по-кавказски гостеприимно встречал в Грузии поэтов и писателей из России: в 1924 — Сергея Есенина, в 1926 — Маяковского, в 1931 — Пастернака. Тициан был самым ярким поэтом Грузии, его щедро переводили на русский Пастернак, Заболоцкий, Ахматова... В начале 1937 его творческие вечера с успехом прошли в Москве и Ленинграде, но затем он попал в жернова «большого террора».

Из ближайших друзей Пастернака первым в жернова террора попал Тициан Табидзе, в декабре 1937 его арестовали и расстреляли. Затем пришло время Паоло Яшвили. Хороший организатор, но довольно средний поэт, он строчил идеологически правильные стихи: «Инженерам поэзии», «Ленину», «Самгорским строителям». В 1934 его за идеологическую грамотность избрали членом Закавказского ЦИК, но в 1937, после расстрела его близких друзей Тициана Табидзе и Николо Мицишвили, от Яшвили потребовали написать статью, осуждающую память Табидзе. Верный дружбе Паоло во время «проработочного» собрания ЦИК Грузии, на котором присутствовал Берия, поднялся к себе в кабинет и показательно застрелился из ружья, которое ему подарил Табидзе. «Упустили гада», — разочарованно сказал Берия, услыхав этот выстрел. Самоубийством кончали в это время многие партийные работники.

Но в 1931 «большой террор» еще не начался — Яшвили, Табидзе, Пастернак и Зина спокойно съездили в Мцхету и в Джвари — на развалины монастыря, описанного еще Лермонтовым. Август 1931Борис Леонидович и Зинаида Николаевна прожили в Коджорах, ближе к сентябрю Паоло Яшвили привез влюбленных в курортный Кобулети. Молодой Симон Чиковани жил в одной с ними приморской гостинице, зафиксировав для вечности, как Пастернак работал: «Уже на заре доносилось до нас с верхнего этажа характерное гуденье и бормотанье — это значило, что Борис Леонидович пробовал на голос написанные до этого строки, проверяя на слух их музыкальное звучанье». Борис Леонидович и Зинаида Николаевна пробыли в Грузии до 16 октября, затем Пастернак еще три раза ненадолго приезжал в Грузию. В целом, если сложить все его дни на Кавказе, он пробыл в Грузии месяцев шесть, но эти месяцы значили для Пастернака очень много. Во-первых, поэта в Грузии ценили, ему там было хорошо не только телом, но и душой. Во-вторых, Грузия для Пастернака, по его же словам: *«не только юг и Кавказ, то есть красота всегда бездонная... люди замечательные... А это нечто большее... что и на всем свете стало теперь редкостью... страна, удивительным образом не испытавшая перерыва в своем существовании».*

Находясь в Грузии на высоте личного счастья, Пастернак посылал Евгении Владимировне письма, полные жалости и сочувствия. Эти

письма оставались без ответа. К Новому 1932 году Евгения Владимировна вернулась в Москву из Германии, Борису Леонидовичу и Зинаиде Николаевне встречаться теперь оказалось негде. Зинаида Николаевна возвратилась в квартиру Нейгауза, Евгения Владимировна могла вовсю третировать Пастернака. Зима 1931/32 оказалась для Пастернака одной из самых тяжелых в его жизни — Евгения Владимировна устраивала ежедневные сцены ревности. Непрерывные обвинения, скандалы, чувство вины приводили Бориса Леонидовича на грань сумасшествия. Он пытался отравиться, но выжил и спасительно перебрался в комнату брата, где тот жил с семьей. Пастернак писал Ольге Фрайденберг: *«...я с ума сошел от тоски. Между прочим, я травился в те месяцы и спасла меня Зина. Ах, страшная была зима. Я, а потом и она со мной поселилась у Шуры с Ириной... мальчики же ее находились у отца, в совершенно запущенной квартире, потому что Зина не справлялась с двумя хозяйствами и ей приходилось быть им, так сказать, «приходящей» матерью... я страшно виноват перед ней, ужасно расшатал ее здоровье и состарил... мною слишком владела жалость к Жене... Не думайте, что Женя оставлена материально и, так сказать, в загоне. При Женичке (сын) воспитательница, и у Жени пожилая опытная прислуга... все это делается против ее воли... всякий раз, как дело доходит до новых денег, мне больших и горьких трудов стоит, чтобы она их приняла. Но, Бог ей судья, в ней есть что-то совершенно непонятное мне и глубоко чуждое. Когда я о ней думаю после длительных разлук, я всегда прихожу в ужас от той черной двойственности и неискренности, в которой держал ее всегда... она не терпит прекословий... я никогда не видал человека, воспитанного в таком глупом, по-детски бездеятельном ослепляющем эгоизме, как она... Я совершенно счастлив с Зиною...»*

На высоте страданий поэты всегда пишут лучшие строки. Пастернак, напитав душу горечью жизни, диалектикой темного и светлого, посылал сестре за границу провидческие слова: *«...извечная жестокость несчастной России: когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется...»*. Он понял, за искреннюю поэзию ему придется заплатить кровью: *«О знал бы я, что так бывает,/ Когда пускался на дебют,/ Что строчки с кровью — убивают, / Нахлынут горлом и убьют!»* Он размышляет о месте первого поэта России, освободившееся после смерти Маяковского. Пастернак радуется, что не оказался на месте обожествленного Маяковского, даже благодарил за это Сталина, который объявил Маяковского навсегда первым поэтом СССР: «Личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов... Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте» («Избранное» т.2, с. 266). В стихотворении «Другу», обращенном к Пильняку, Пастернак пишет: *«Напрасно в дни великого совета, / Где высшей страсти отданы места, / Оставлена вакансия поэта: / Она опасна, если не пуста».* На вечере памяти Маяковского Пастернак говорил о поэзии: *«Если собрать все написанное поэтом... то это никогда не равносильно той роли, которую он сыграл, и эта роль всегда будет больше, потому что явление поэзии... вам сигнализирует какие-то ценности, и в них мы видим отклик того, что в кавычках называем бессмертием...»*. На высоте страданий он вступил в период творческой зрелости.

Спасение от неустроенности пришло благодаря друзьям. Весной 1932, по просьбе Горького, писатель Иван Евдокимов отдал Пастернаку часть своей жилплощади. Для Бориса Леонидовича выгородили маленькую, ещё не отделанную квартиру из двух комнат на первом этаже флигеля «Дома Герцена» на Тверском бульваре, там сейчас канцелярия Литературного института. Выезжая из родных комнат на Волхонке, Пастернак сжег много рукописей, но сделал это зря — квартирка на Тверском ока-

залась Пастернаку тесна. Евгения Владимировна согласилась обменяться жильем после того, как Зинаида Николаевна сделала на Тверском хороший ремонт. Комнаты на Волхонке сильно пострадали в результате подрыва Храма Христа Спасителя и требовали капитального ремонта, в комнатах гулял ветер, жить там Евгении Владимировне оказалось невозможно, а заниматься бытом она не умела. Пастернак вернул Зинаиду Николаевну на Волхонку, Евгению Владимировну перевез на Тверской бульвар, сам на четыре дня уехал по делам в Ленинград, Зинаида Николаевна занялась разгромленной квартирой. Пастернак вскоре написал Ольге Фрайденберг: *«За четыре дня Зина успела позвать стекольщика и достать стекол — остальное все сделала сама, своими руками: смастерила раздвижные гардины на шнурах, заново перебила и перевязала два совершенно негодных пружинных матраца и из одного сделала диван, сама полы натерла и пр. Комнату мне устроила на славу…»*

С такой женой за тыл Пастернаку беспокоиться не приходилось, Зинаида Николаевна, даже хворая, героически трудилась на благо семьи. Пастернак восхищался ею в письме Ольге Фрайденберг: *«Непомерно трудно, четырежды осложненно против прошлого, в вечной беготне между разными очагами хозяйства, поочередно сваливаясь то от воспаления легких, то от операций, прожила полтора эти года, и в особенности последнюю зиму Зина, и сейчас работает не покладая рук».* Рядом с такой женщиной Пастернак мог бы спокойно отдаться творчеству, но для покоя и благости его душа не годилась. В марте 1933 они поженились официально, Бориса Леонидовича стала одолевать ревность. В одном из писем он говорит о причине своих волнений: *«Пятнадцати лет она полюбила своего сорокапятилетнего кузена, у которого была семья, и он сначала встречался с ней, институткой, в отдельных кабинетах, а потом снял тайную квартиру для свиданий, и она полуребенком три года была его любовницей».*

Зинаида Николаевна вспоминала свой первый взрослый опыт со смущением и благодарностью, а Пастернак не мог успокоиться. Он возненавидел Милитинского, считал его негодяем, позже вволю потоптался на нем в своем романе. Зинаиду Николаевну он оправдывал в письме к родителям: *«Зина …так же глупа, нелепа, первоэлементарна, как я. Так же чиста и свята при совершенной испорченности, так же радостна и мрачна».* На ревность накладывались отсутствие творческих перспектив, непрекращающаяся травля и запрет на выезд из страны. Пастернака заставляли воспевать совершенно чуждые для него идеи, упрекая в «неправильном» мировоззрении. Ему 43 года, за ним духовный опыт, который и не снился многим его критикам, Пастернак хочет остаться собой, но ему говорят — это непозволительная роскошь. Партийные функционеры, чиновники от искусства лучше Пастернака знают, о чем ему думать, во что верить, как сочинять. Первое требование — быть попроще. Пастернак думает и говорит слишком сложно для советской литературы 1930-х, даже стенографистки на писательском съезде жаловались, что не понимают его слов. Чиновники РАПП тоже не всегда понимали, Пастернаку приходилось оправдываться: *«Я всегда говорю неудачно, с перескоками, без видимой связи и не кончая фраз».* Второе требование — восхищаться советским строем, а не критиковать. Но Пастернак на писательском съезде высказывает мысли, за которые других расстреливают: *«У нас диктатура пролетариата, но не диктатура посредственностей. Это разные понятия…»* Удивительно, что Пастернака не трогают! Правда, его «Охранную грамоту» назвали «охранной грамотой идеализма», самого писателя обвинили в «субъективном идеализме и неокантианстве», причислив его к «носителям буржуазной опасности», но это мелочи в сравнении с предстоящими расстрелами Бабеля, Пильняка, смертью Мандельштама…

Конечно, Пастернак рисковал, не зря Матэ Залка на съезде писателей выкрикнул: «Вы стоите по ту сторону баррикад классовой борьбы»!

Алексей Сурков, немного изучавший философию, добавил: «Это поэзия субъективного идеалиста. Для него мир не вне нас, а внутри нас». По сегодняшнему разумению, что в этом плохого? Мир внутри нас имеет такое же право на существование, как и мир вне нас, тем более внутренний мир большого художника. В чем проблема? Но попытки Пастернака отстоять личное мировоззрение вызывали ярость у партийных чиновников от литературы, предпочитающих идейное однообразие. Поэт Бобров описывал обстановку писательского съезда: «Один за другим выступали какие-то… тупые грузные дяди, только что не грозившие Боре топором. У него в заключительной речи своей было ужасно серое лицо, какая-то путаница в речах, не знал, что и говорить — да и что говорить. Зрелище растоптанного человека». Теоретики РАППа, скорее всего, добили бы Бориса Леонидовича, но РАПП вскоре расформировали. К этому времени Пастернак уже отказывается от предисловий к своим книгам, уговаривает критиков совсем не писать о нем, ведь искренняя поэзия от первого лица становилась в СССР смертельно опасным делом. За несколько рифмованных строк о Сталине в мае 1934 арестовали Осипа Мандельштама.

Мандельштам не был близким другом Пастернака, но именно к нему приехали Надежда Мандельштам и Анна Ахматова, надеясь на помощь. Борис Леонидович тут же включился в борьбу за опального поэта, хотя относился к Осипу Эмильевичу Пастернак двойственно. Во-первых, Мандельштам в начале 20-х годов имел роман с Цветаевой, а Пастернак был очень ревнив. Во-вторых, Мандельштам не прислушался к совету более осторожного приятеля. Борис Леонидович говорил позже скульптору Маслениковой: *«Мандельштам был человек одаренный, но очень ленивый, вечно лежал на диване и бездельничал» (4).* Однажды, во время совместной прогулки, Осип Эмильевич прочитал Борису Леонидовичу стихотворение о Сталине: «Мы живем, под собою не чуя страны…» Борис Леонидович опешил, услыхав эти строки, попросил уничтожить все списки стихотворения или, во всяком случае, никому его не читать: *«Стихи ничего не изменят, но ты погибнешь» (4).* Мандельштам не послушался, прочел стихотворение двум десяткам человек, среди которых оказался некто, написавший донос. На такие строки не могли не отреагировать.

Оказавшись в Москве, Надежда Мандельштам отправилась хлопотать о муже в прокуратуру, Ахматова пошла в Кремль к Янукидзе, а Пастернак решил поговорить с Бухариным, который на тот момент был главным редактором «Известий». Зинаида Николаевна не хотела участия Пастернака в этой компании. По словам Ахматовой, Зинаида Николаевна возненавидела Мандельштама за его политические стихи, говорила, что Осип Эмильевич компрометирует ее «лояльного мужа». Но Пастернак в антракте спектакля Камерного театра подошел к Бухарину и сказал, что вполне понимает, насколько его ходатайство глупо и не имеет смысла, но *«если нужно мое ручательство за Мандельштама, то я за него ручаюсь» (4).* Бухарин тут же написал Сталину письмо о Мандельштаме, прибавив, что «Пастернак тоже волнуется». Через несколько дней в квартиру на Волхонке, где жил Пастернак с Зинаидой Николаевной, позвонил секретарь Сталина Поскребышев. Он продиктовал номер телефона, который Пастернаку следовало набрать. Квартира на Волхонке, как всегда, была набита жильцами, телефон стоял в передней, многие состоявшийся разговор слышали, позже передавая его кому как вздумается.

Пастернак позвонил, ему ответил Сталин.

— Скажите, вы знаете поэта Мандельштама? Какова о нем молва? Каково ваше личное мнение о нем? — спросил Генеральный секретарь ЦК КПСС.

— Поэты как красивые женщины, — отвечал Пастернак уклончиво, прекрасно понимая, что от каждого слова в таком разговоре зависит его собственная жизнь и судьба Мандельштама. — Им трудно оценить

достоинства друг друга.

— На вашем месте я не стал бы топить товарища, — удивился Сталин, — а постарался бы все сделать, чтобы его спасти. Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?

— Писательские организации не занимаются этим с 1927 года.

— Но ведь он ваш друг?

Пастернак замялся — поможет ли Мандельштаму, если сказать что друг, или это погубит обоих?

— Но ведь он мастер, мастер? — изменил формулировку Сталин, который по-хозяйски ценил мастерство в любой сфере. Черчилль и Рузвельт его так и называли в разговорах между собой — «Хозяин». Наверное, слово «мастер» в устах Сталина произвело сильное впечатление на Булгакова, который много думал о вожде, написал пьесу о нем, находясь под гипнозом этой сильной личности, ведь сила и власть всегда создают ауру притяжения для женщин и творческой интеллигенции...

— Если вам нужно мое заверение, что Мандельштам вполне советский человек, я его даю, — сказал Пастернак Сталину и тут же постарался перевести разговор в другую, менее опасную плоскость. — Как жаль, что нам с вами приходится говорить на такую тему, надо было поговорить совсем о другом.

— А о чем бы вы хотели со мной говорить?

— Ну мало ли о чем, о жизни и смерти.

— Хорошо, — сказал Сталин. — Когда у меня будет больше свободного времени, я вас приглашу к себе и мы поговорим за чашкой чая. До свидания (4).

Этот разговор вскоре стал легендой. Многие считали, что Пастернак плохо защищал Мандельштама, хотя неизвестно, как бы они сами повели себя на месте Бориса Леонидовича, если б, конечно, с ними советовался Сталин... Ахматова считала, что Пастернак в этой ситуации «действовал на твердую четверку». Мандельштаму вскоре смягчили условия ссылки, вернули из Чердыни Пермского края — он там выбросился из окна и сломал руку в приступе панической атаки, — разрешили переехать поближе к литературным центрам, в Воронеж. Мандельштам хорошо знал, что Пастернак его поддерживал, вскоре прислал несколько писем, в которых благодарил за помощь. На первый раз Мандельштама освободили, но ненадолго. В мае 1938 Осипа Эмильевича арестовали повторно при подстрекательстве тогдашнего руководителя Союза писателей СССР Ставского. Мандельштам в это время стихов уже не писал, ему предъявили болезнь: «...он часто приезжал в Москву, останавливался у своих знакомых, пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего «бедственного» положения и болезненного состояния...». При этом судившие поэта имели хорошую зарплату, жили в комфортабельных квартирах, могли пользоваться спецполиклиникой, санаториями... Впрочем, вскоре многих людей из партийной номенклатуры и силовых ведомств машина террора тоже затащит в свои гигантские шестерни, превратит их в кровавый фарш, выбьет их самонадеянные мозги казенной пулей на бетонный пол в служебном подвале. Те, кому повезет выжить, позже будут оправдываться: «Жизнь такая была, мы выполняли приказы...» Что говорить, многие люди и сейчас целиком строят свою жизнь на выполнении приказов, в расчете на толику власти, положение в обществе, хорошую зарплату и раннюю пенсию.

27 декабря 1938 Мандельштам погиб от истощения, болезней, депрессии в пересыльном лагере Владивостока. К тому времени Сталин уже не мог отследить судьбу каждой жертвы, да и потерял замолчавший Мандельштам ценность для Хозяина. Безмерно талантливый Мандельштам, учившийся в Сорбонне, Гейдельбергском и Петербургском университетах, после революции отказавшийся бежать в Турцию из-за любви к России, был уничтожен, раздавлен, как сотни тысяч других талантливых,

образованных, преданных России людей. Это неоправданное насилие бросило тень на великолепные, удивительные достижения СССР. Страна при Сталине добилась очень многого. В СССР провели стремительную индустриализацию, построили новые города, создали блестящие научные школы, вырастили удивительный народ, который победил фашизм в страшной войне. Против СССР трудилась вся экономика развитой Европы, подчиненная Третьему рейху, но экономика и народ СССР победили, сумев в кратчайшие сроки эвакуировать на восток оборонные заводы, перезапустить сложные производства, совершенствуя образцы новой техники. Советские люди за год-полтора построили более 2000 новых заводов, где были выпущены 140000 танков, десятки тысяч самолетов, гаубиц, зениток, «Катюш», минометов... Харизма и упорство Сталина позволили образовать антигитлеровскую коалицию, наладить ленд-лиз, открыть Второй фронт, обеспечили послевоенный раздел Европы, с которым вынужденно согласились западные лидеры. Горбачев и Ельцин могли только сдавать позиции, а о Сталине Черчилль говорил так: «Меня, аристократа, как пружина поднимала с кресла, когда в зал входил Сталин. Мало того, я вставал навытяжку, как ученик, и держал руки по швам». В другом месте: «Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени...» СССР был удивительным государством с практически бесплатным жильем, образованием и медициной для прежде обездоленного народа. В стране отменили кастовые и классовые противоречия, СССР был надеждой и опорой многих униженных во всем мире, одним своим существованием останавливая войны, заставляя капиталистические страны вводить у себя элементы социального государства...

Других разговоров со Сталиным у Бориса Леонидовича не было, хотя несколько раз он писал Хозяину письма. Когда арестовали Пунина, второго мужа Анны Ахматовой, Борис Леонидович тоже принимал участие в его спасении. Анна Андреевна снова жила на Волхонке у Пастернака, находясь в тяжелом душевном состоянии — Гумилев расстрелян, сын Лев давно в лагере, теперь арестовали второго мужа... Пастернак составил письмо Сталину в защиту Пунина, сам опустил его ночью в почтовый ящик, вскоре Ахматовой предложили взять мужа на поруки, Пунин был освобожден.

Главными литературными авторитетами в СССР начала 1930-х были Горький, Эренбург, Сурков, Шолохов... Горького заставили вернуться с Капри. Хозяин звал его домой настойчиво, Горький отнекивался, ссылаясь на здоровье, но ему передали слова Сталина: «вернетесь в любом случае — живым или в гробу». В СССР Горький занялся писательскими делами, начал готовить уже помянутый Первый съезд писателей. Что интересно для туляков, на этот съезд Пастернак приехал из Одоева. Лето 1934 он с Зинаидой Николаевной и Стасом Нейгаузом провел в Николо-Жупани, на высоком берегу Упы, в бывшем доме декабриста Мирковича, где в 1932-1936 находился дом отдыха советских писателей.

Главным обвинителем Пастернака всю жизнь был Алексей Сурков — друг Твардовского, известный советский поэт. Он служил пулеметчиком на Гражданской, подавлял восстание Антонова, член ВКП(б) с 1925, один из руководителей РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей). Позже преподавал в Литинституте, был заместителем редактора журнала «Литературная учеба», служил военным корреспондентом на Финской и Великой Отечественной. Некоторые стихи его знала вся страна: «По военной дороге / шел в грозе и тревоге \ боевой восемнадцатый год/ были сборы недолги. / От Кубани до Волги / Мы коней поднимали в поход». А еще: «Бьется в тесной печурке огонь, / на поленьях смола, как слеза / и поет мне в землянке гармонь / про улыбку твою и глаза».

Суркова наградят Сталинскими премиями в 1946 и 1951, он — абсолютно преданный стране, сильный человек, но думать он мог, похоже, лишь по однажды усвоенным шаблонам. Гораздо более широкий Пастернак его раздражал. Когда Сурков громил Пастернака с трибуны писательского съезда, Борис Леонидович сидел рядом с Горьким в президиуме, Горький толкал его локтем в бок и подшучивал, а Пастернаку было не до смеха. Его унижала организованная Горьким, Сурковым, Фадеевым рутинная писательская работа. Он жаловался Ольге Фрайденберг в это время: *«Страшно работать хочется... И нельзя. Телефонный разврат какой-то, всюду требуют, точно я содержанка общественная... Как стыдно и печально» (3).* Работать со словом некогда, Бориса Леонидовича загрузили участием в заседаниях правления СП, он вынужден читать бесконечные творческие отчеты пролетарских поэтов, преподавать в школе молодых литераторов в Малеевке, выступать на вечерах переводимой литературы... Оно писывал свое тогдашнее душевное состояние в письме к родителям: *«я был болен...меня угнетала утрата принадлежности себе и обижала необходимость существовать в виде раздутой... легенды. В тогдашней тоске я чувствовал на себе дыханье смерти...»* Про ревность он писать близким не стал, хотя его депрессия примерила на себя маску ревности.

Пастернак любил Зинаиду Николаевну страстно, много раз писал ей слова, которых не дождалась его первая жена: *«Невероятная, бесподобная, боготворимая! Сколько лет прошло, и ты все-таки оказалась на свете! И я увидел тебя и пишу тебе и буду жить этим, немыслимо золотою этой жизнью с тобою и умру с твоим именем на губах!»* Ценя искренность в отношениях, Зинаида Николаевна сразу рассказала Борису Леонидовичу о своем «скелете в шкафу», как в пятнадцать лет, живя в Ольденбурге, она полюбила своего кузена, двоюродного брата 45 лет, Николая Милитинского. Ничего особенного в этом не было, ведь Борис Леонидович и сам ухаживал за Олей Фрайденберг, но воспоминания об этой детской грешной любви преследовали и мучили Пастернака всю жизнь. Когда Зинаида Николавена стала женой Пастернака, ревность к ее прошлому выросла в нем до болезненных размеров. Зинаида Николаевна переживала из-за причиняемых мужу страданий, «не могла понять, как может человек так мучиться из-за моего прошлого» (6), а у Пастернака началась бессонница, нервные срывы, врачи поставили ему диагноз «острой неврастении», предлагали больницу, но Борис Леонидович предпочел дом отдыха «Узкое», где больше лежал, чем работал. Ему хотелось побыть одному, семью он отправил на съемную дачу в Загорянке, иногда навещая их там.

И тут вмешалось Провидение. В июне 1935 мировая общественность организовала в Париже международный съезд, антифашистский конгресс писателей. СССР прислал туда идеологически выдержанных Эренбурга, штатного чекиста Киршона, Караваева, Корнейчука, Панферова, Тихонова, Щербакова... Как художники слова в Европе они почти не известны, писатели Франции, Англии желали видеть на съезде беспартийных, независимых советских писателей, владеющих европейскими языками. Эренбурга, олицетворявшего тогда советскую литературу, начали бить на улице. Со словами «пришел час расплаты» его ударил по лицу французский сюрреалист Андре Бретон, в наказание за статью в «Литературной газете», где Эренбург обвинял сюрреалистов в одержимости «онанизмом, педерастией, фетишизмом, эксгибиционизмом и даже скотоложеством». За неделю до открытия конгресса единственный гомосексуалист среди французских сюрреалистов, коммунист Рене Кревель покончил с собой, после этого советской делегации грозил бойкот, Эренбург телеграфировал в Москву о затруднениях, требуя прислать независимых писателей. На заседании Политбюро решили послать Пастернака и Бабеля, приставив к ним наблюдателей. 20 июня Поскребышев прие-

хал за Пастернаком в Загорянку, Борис Леонидович отказывался ехать, ссылаясь на болезнь, но Поскребышев сказал, что это приказ Сталина, не обсуждается. Делать было нечего, Бабелю и Пастернаку за ночь пошили приличные костюмы в писательском ателье, 21 июня их посадили на поезд, идущий с Белорусского вокзала через Берлин во Францию.

Пастернак в купе больше лежал и жаловался сопровождающему человеку в штатском на свои житейские горести. Думаю, спутник его был сильно разочарован. Поэт не говорил о стихах или политике, только о своей женщине! В рапортах, скорее всего, это было отражено — мол, Пастернак не боец, не политик, а сумасшедший ревнивец, не опасный для советской системы.

Оказавшись в Париже, Борис Леонидович начал приходить в себя. Еще в поезде написал речь на французском в тетрадке, но Эренбург эту тетрадку порвал, ведь Пастернак хотел говорить, что «культура не нуждается в объединениях и организациях по ее защите, что надо заботиться о жизни и свободе людей, тогда культура возродится и утвердится сама» (6). Очень мудрые мысли, но Эренбург, понятное дело, не хотел, чтобы Пастернак их озвучивал.

Пастернак отлеживался в гостинице, Цветаева в нем окончательно разочаровалась. Она предполагала увидеть героя, духовного витязя, в одиночку сражающегося с советской системой, а увидела хандрящего поэта, который предложил ей пройтись по магазинам, чтобы примерить на нее обновки для Зинаиды Николаевны. Цветаева отстранилась от него внутренне, хотя внешне соблюдала приличия, читала ему свои новые стихи, сидела рядом на заседаниях съезда. Ее муж Сергей Эфрон возглавлял бригаду молодых людей, охранявших зал от возможных провокаций фашистов. Гораздо теплее матери отнеслась к Пастернаку Ариадна Эфрон. Смешливая молодая женщина ходила с ним по магазинам, сидела рядом в гостинице и понемногу депрессия Бориса Леонидовича ослабела. Эренбург вытолкал Пастернака на сцену 25 июля, в предпоследний день съезда. Европейские писатели устроили Пастернаку длительную овацию! Мальро, представляя его, сказал — «перед вами один из самых больших поэтов нашего времени», — затем он перевел выступление Пастернака, прочел на французском стих *«Так начинают...»* С трибуны Борис Леонидович говорил путанно — *«поэзия... навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником»,* — но теплый прием в Европе произвел на Пастернака огромное впечатление. Он вдруг понял, как читающий мир его ценит и знает. Подумал, наверное, что Россия — не весь читающий мир, ему надо работать для человеческой цивилизации вообще, для общемирового читателя, у которого Пастернак гораздо популярнее Демьяна Бедного, Алексея Суркова и Лебедева-Кумача. Для Пастернака эти мысли оказались спасением, поэт осознал свою «сверхзадачу» — он должен сказать миру слова правды о произошедшем с Россией.

Он возвращался в Ленинград пароходом из Лондона возбужденным, радостным, в каюте не давал покоя соседу — секретарю Союза писателей Щербакову, — говорил без умолку. Щербаков просил его немного помолчать, хотел выспаться, но Бориса Леонидовича захлестывали новые мысли и чувства: это не он заблудился в идейных и творческих поисках, а родная страна, возможно, заплутала в лабиринте социальных экспериментов. Пастернак решил написать прозой о революции, советской жизни, судьбе русской интеллигенции, ведь он был одним из выживших в СССР людей старой, общечеловеческой культуры, в каком-то смысле он был соглядатаем прошлого и будущего в стране победившего социализма.

И Борис Леонидович выздоровел. В Ленинграде на несколько дней он задержался у Фрайденбергов, просил Зинаиду Николаевну не приезжать,

хотел пообщаться с Ольгой и Анной Ахматовой. Зинаида Николаевна тут же приехала, увезла мужа в Москву. В столице Сурков и компания не унимались, попрежнему травили Пастернака, но Борис Леонидович уже не обращал на них прежнего внимания — думаю, критики теперь виделись ему людьми, стоящими вне главного культурного процесса Европы, маргиналами, безнадежно ушибленными идеями Маркса и Ленина. Их черно-белый мир казался ему пошловатым, простеньким, Пастернак позволял себе делать о них насмешливые замечания. На пленуме правления ССП Пастернак высказался об опасности *«банкетно-писательской практики»* и *«фанфарной пошлости»* в советской литературе, публично констатируя, что посредственность начала говорить от лица революции, стремясь управлять, судить и советовать. В 1936 с трибуны он бесстрашно препарировал советскую методику пропаганды: *«Множество ложных взглядов стало догматом потому, что они утверждаются всегда в паре с чем-нибудь другим, неопровержимым и даже священным, и тогда как бы часть благодати с этих абсолютных бесспорностей переходит на утверждения, далеко не для всякого обязательные».* Писательским функционерам стало понятно, перевоспитываться он не желает, «меры воздействия» не заставили себя ждать.

23 февраля 1936 появилась статья в «Комсомольской правде», где громили Ахматову, Пастернака, Булгакова, Федина, Пильняка, Леонова, Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Шостаковича... Их всех обвиняли в формализме. Дискуссия о формализме в советском искусстве началась 28 января 1936 статьей в «Правде» о Шестаковиче «Сумбур вместо музыки». На московских кухнях говорили, что сложная музыка Шостаковича не понравилась Сталину, он и дал отмашку на проработку «неправильного» композитора, да и термин сам предложил — формализм. И пошла писать губерния, партийные и околопартийные критики набросились на всех, у кого в творчестве обнаруживались формальные изыски. Пастернак оказался одной из главных мишеней, партийные публицисты уже открыто требовали оградить советский народ «от тлетворного влияния» Пастернака.

Борис Леонидович прекрасно понимал, чем может дело закончиться, старался не писать собственных стихов, говорил в письме Ольге Фрайденберг в январе 1936: *«Я пишу невероятно мало, и такое, прости меня, невозможное говно...».* При этом к своим гонителям он относился без обид, ведь на убогих обижаться грешно: *«Существуют несчастные, совершенно забитые ничтожества, силою собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены... убожеством своих умственных ресурсов» (Ольге Фрайденберг, январь 1936).*

На сегодняшний взгляд, что есть искусство, если не отточенная и оригинальная художественная форма? Идеи, события, общественное мировоззрение меняются, оригинальная форма остается в культуре навсегда. Но в СССР и содержание, и форму искусства хотели навязать сверху. Пастернак махнул рукой на свободное творчество, работал в стол, а заработанные переводами деньги тратил на обустройство жизни своих близких, надеясь, что когда-нибудь времена изменятся.

Осенью 1935 началось строительство долгожданного «дома писателей» в Лаврушинском переулке, вдобавок Союзу писателей выделили землю для дач в Переделкино. Борис Леонидович начал строить в Переделкино большой дом, чтобы перевезти туда из-за границы стареющих родителей. Весной 1936 он писал им: *«...с этого лета я получу под Москвой отдельную дачу в писательском поселке, а осенью (в обмен на Волхонку) и квартиру».* К ноябрю 1936 удалось выплатить деньги за кооператив в Лаврушинском переулке, но переезд туда откладывался до декабря 1937. Дом в Переделкино с комнатами для родителей продвигался быстрее, летом 1936 в этот наскоро построенный дом переехала сначала Зинаида Николаевна с детьми, а вскоре туда перебрался и Пастернак.

Жить на земле после толкотни коммунальной квартиры — это счастье! В деревне Пастернаку так понравилось, что он провел здесь всю осень и зиму 1936-37, приезжая в Москву по делам лишь два-три раза в месяц.

Летом 1937 в СССР началась горячая страда массовых репрессий. От всех видных писателей, от Пастернака в том числе, требовали подписать требование расстрела Тухачевскому и Якиру. Большинство подписали, а Пастернак и еще несколько человек отказывались, хотя это было смертельно опасно. Но Борису Леонидовичу казалось легче умереть, нежели подмахнуть смертный приговор другому человеку. Генеральный секретарь СП СССР Владимир Ставский-Кирпичников — пять классов Пензенского реального училища, с 1918 в особом отделе ВЧК Восточного фронта, подавлял крестьянские восстания в уездах, с 1928 организатор насильственных хлебозаготовок в кубанских станицах, в 1937-1941 главный редактор журнала «Новый мир», в 1938 подстрекал Ежова быстрее «решить вопрос о Мандельштаме», в 1937 доносил Сталину о «грубых политических ошибках» Шолохова, намекая, что и Шолохова хорошо бы того... ножом по горлу и в колодец, а вместо него восславить Кирпичникова... погиб во время вылазки на нейтральную полосу со снайпером в ноябре 1943, — этот Ставский приезжал в Переделкино, кричал на Пастернака, угрожал ему арестом, требовал подписать расстрельное письмо, но Пастернак вновь отказался. Беременная Зинаида Николаевна рыдала, валялась у Бориса Леонидовича в ногах, умоляя не губить себя, ее и ребенка, но Пастернак был непреклонен. За его дачей установили круглосуточное наблюдение, арест маячил на горизонте, Пастернак уже собрал вещи для тюрьмы, друзья уговорили Бориса Леонидовича объяснить свой отказ Сталину. Пастернак написал письмо в Кремль: он, Пастернак, вырос в семье, где были сильны толстовские убеждения, Сталин может располагать его жизнью, но поэт не считает себя вправе быть судьей жизни и смерти других людей. Закончилось тем, что Ставский поставил под расстрельным письмом фальшивую подпись Пастернака и дело замяли. Пастернак позже много раз открещивался от этой подписи, говорил, что она поставлена *«мошеннически и подложно»*. Совесть Пастернака осталась чистой, но радоваться было нечему. В августе 1937 пришло известие об аресте и расстреле Тициана Табидзе, чуть позже — весть о самоубийстве Паоло Яшвили. Пастернак признавался: *«Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем» («Люди и положения»).* У Ольги Фрайденберг арестовали брата Сашу и его супругу. Ольга записала в дневнике: «9 января Сашу отправили этапом на пять лет в Читу, «по подозрению в шпионаже»... Жизнь совершенно умерла для меня... Всем была известна сталинская лагерная каторга, так называемое «строительство» — болото по пояс, избиванье до полусмерти, с переломами черепа и костей, замерзание...».

Пастернаку повезло остаться на свободе благодаря защите Сталина, более того, в декабре 1937 он въехал в новую двухуровневую кооперативную квартиру в Лаврушинском переулке с «башней» под самой крышей — две небольшие комнаты одна под другой на седьмом и восьмом этажах, соединенные внутренней лестницей. Квартиру на Волхонке Пастернак сдал государству, впоследствии крыло дома, где находились его комнаты, снесли при расширении улицы. Под Новый 1938 год у Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны родился сын — Леонид Борисович Пастернак. Впоследствии он окончит университет, станет специалистом «по кристаллам», напишет книгу об отце, но в 37 лет у него остановится сердце прямо на улице, в центре Москвы, у Манежа...

В 1938 Николаевне с Луничкой было удобнее в Лаврушинском, нежели в деревне, тем более, что старшие дети учились в Москве. Поэтому семья вновь разделилась — Борис Леонидович съехал из квартиры в Переделкино, чтобы работать в одиночестве *«в большом двухэтажном, плохо построенном доме... в сыром лесу... Я не исправимый и убежден-*

ный коечник и чердачник (студент, «съемщик угла»)... Мне надо, чтобы жизнь держала меня в черном теле... Это так же приятно, как купаться в реке» (в письме сестре Лидии). Работы было много, Борис Леонидович в 1938 перелагал на русский Чиковани, Шевченко, а в начале 1939 взялся, по заказу Мейерхольда, за «Гамлета». Новый, еще сырой дом, построенный для родителей наспех, оказалось трудно протопить, в щели дул ветер — Борис Леонидович жестоко замерзал там. Поэтому вскоре он взялся за новое строительство. Именно второй, построенный по его заказу, дом нам известен теперь как музей Пастернака. Этот дом строился без спешки, он меньше, уютнее, небольшие комнаты легче протопить, здесь возвышенный участок земли, да и виды из окна раньше были отличные. Переехав сюда, Пастернак работал над «Гамлетом» по 10 часов в день, Мейерхольд торопил поэта, но 20 июня 1939 режиссера арестовали, через 25 дней оказалась убитой его жена, З.Н. Райх. У Пастернака работа вывалилась из рук, но «Гамлета» подхватил МХАТ с Немирович-Данченко во главе.

За два дня до ареста Мейерхольда в Москву вернулась Цветаева с Муром. Марина Ивановна приехала к мужу и дочери, которые перебрались в СССР пораньше — они жили на даче НКВД в Болшево. Пастернак теперь мог часто видеться с Цветаевой, хотя взаимная влюбленность поэтов давно прошла. Цветаева оставалась чрезмерным, избыточным в чувствах человеком, долго выдерживать ее рядом было невозможно. С Пастернаком они были разными людьми, Марина Ивановна всегда делала то, что сама находила нужным. Пастернаку рядом с ней было неуютно, тем не менее, когда 28 августа 1939 арестовали дочь Цветаевой Ариадну Эфрон, а 10 октября и Сергея Яковлевича Эфрон, Пастернак старался поддержать Цветаеву, ездил к ней в Болшево, познакомил ее с директором «Гослита», где хорошо платили за художественные переводы. Когда Цветаева приезжала к Пастернаку в Переделкино — он помогал ей деньгами.

Во МХАТе вовсю шла работа над его «Гамлетом», но Немирович-Денченко и постановщики требовали изменений в пьесе. Борис Леонидович нервничал, — *«Господи, какие дураки!»* — жаловался на *«отсутствие уха у театральных»*, хотел забрать перевод, но работа над пьесой все же продолжалась, он писал отцу: *«Для меня этот труд был совершенным спасением от многих вещей, особенно от маминой смерти, остального ты не знаешь... я бы без этого сошел с ума... Перевод предельно прост, плавен, понятен... и естествен. В период фальшивой риторической пышности очень велика потребность в прямом независимом слове и я невольно подчинялся ей».*

На фоне всеобщего ожесточения 1937-1938 советские люди начали бояться друг друга. Ольга Фрайденберг описывает в письме Борису Леонидовичу тогдашнюю уличную обстановку в интеллигентном Питере: «Подходит трамвай. Один советский гражданин, желая влезть, со всего размаха бросает меня головой о мостовую. Я падаю плашмя, лбом о камни... Остановка пустеет; кто-то с ужасом шепчется надо мной, но никто не помогает встать... Встаю, обливаясь кровью... вот наша дверь. Бросаюсь в ванную. Оттуда говорю маме, что упала... вижу над переносицей огромную дыру и в ней — свою лобную кость... У меня было сотрясенье мозга, и меня лечили и терапевт, и психоневролог, и хирург...»

Пастернак скрылся от жестокостей жизни в Переделкино. Работал в писательском кабинете, копал огород, гулял в лесу — главное, подальше от людей, чтобы Сурков и компания забыли о нем. Тактика принесла плоды, Бориса Леонидовича на время оставили в покое. После обвинений в «комнатности» прилепили к нему ярлык «дачника» и махнули на него рукой. Сурков занялся проработкой других несознательных, а Пастернак потихоньку оттаял в своей деревенской берлоге. Во второй половине1940 он сообщает Ольге Фрайденберг: *«После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое... Мы с Зиной раз-*

вели большущий огород... Я с Леничкой зимую на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе».

Казалось бы, у Пастернака все хорошо, беды минуют его, но счастливым ему стать трудно, ведь у его друзей жизнь превращается в катастрофу. После ареста родных Цветаева мечется в Болшево, ей кажется, что за ней тоже придут. На зиму 1939-1940 Пастернак и Вильмонт пристроил и Марину Ивановну в Голицино, сняли для нее жилье возле писательского дома-творчества. Летом 1940-го ее поселили в квартире Габричевских, на время уехавших пожить в Коктебель. Пастернак старался втянуть Цветаеву в московскую писательскую жизнь — познакомил ее с Ахматовой, Нейгаузом, Асмусом, Асеевым, хотел свести и с Фадеевым, живущим в Переделкино, но Фадеев боялся принимать у себя эмигрантку. Однажды он все же осторожно зашел к Пастернаку, познакомился с гениальной поэтессой. Пастернак продолжал хлопотать об арестованных, отправил письмо Берия в надежде вытащить из тюрьмы Тициана Табидзе, но безуспешно.

Зимой и весной 1941 Пастернак активно работал после *«долгого и мучительного антракта, когда ...действительно, не мог написать ни одной строчки».* Ахматова навещала Пастернака в Переделкино, хотя недолюбливала Зинаиду Николаевну. Анна Андреевна считала, что Борис Леонидович творчески восстановился благодаря деревне, по ее словам: «...природа всю жизнь была его единственной и полноправной Музой, его тайной собеседницей, его Невестой и Возлюбленной».

Война оторвала Пастернака от перевода «Ромео и Джульетты». Борис Леонидович быстро втянулся в военный быт — дежурил ночью на крыше двенадцатиэтажного дома в Лаврушинском, рыл блиндажи на подступах к Москве, проходил курсы военного обучения. 8 августа 1941 Цветаева уехала из Москвы в Елабугу, несмотря на возражения Пастернака. Она опасалась ареста, боялась наступающих немцев, тревожилась за сына Георгия, который вместе со взрослыми гасил на крыше зажигательные бомбы. Пастернак и Боков провожали Марину Ивановну в Южном речном порту — она не взяла в дорогу еды, Пастернак купил для нее бутерброды в буфете. В Елабуге сыну Цветаевой оказалось негде учиться, он ссорился с матерью, которая привезла его в ненавистную провинцию, требовал перебраться в Чистополь, где обитала писательская колония. Зинаида Николаевна Пастернак работала сестрой-хозяйкой в Чистопольском детском доме, Цветаева надеялась тоже там устроиться, отправила письмо в Союз писателей с просьбой взять ее работать в детский дом судомойкой. Решение зависело от Асеева, Тренева и еще нескольких человек, стоящих во главе чистопольского «правительства». Они испугались контактов с эмигранткой, в помощи отказали. Рассерженный Георгий Эфрон кричал, что эмигрантское прошлое матери мешает ему влиться в жизнь страны. Последними словами Цветаевой оказалась фраза, обращенная к сыну: «Мур, я стою помехой на твоем пути, но я этого не хочу, надо устранить препятствие». Георгий буркнул — «надо подумать», — и ушел гулять, когда же вернулся, тело матери вынимали из петли...

Пастернак был потрясен известием о смерти Цветаевой. 10 сентября 1941, узнав от Федина о трагедии, написал жене*: «Это никогда не простится мне! Последний год я перестал интересоваться ей. Она была на очень высоком счету... входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья, Гаррик, Асмус, Коля Вильям, наконец, Асеев. Так как стало очень лестным числиться ее личным другом... И вот тебе! Как это страшно...»* Впоследствии Борис Леонидович много раз корил себя судьбой Марины Ивановны, хотя сделал для нее очень много. Например, в июне 1941 Цветаева приезжала в Переделкино совсем без средств, Зинаида Николаевна обходила писательские дачи, собирая для Марины Ивановны деньги, чтобы оплатить ее комнату на Покровском бульваре.

Наверное, можно было на время взять ее к себе в дом, но Марина Ивановна сама бы не согласилась на это, да и Зинаида Николаевна вряд ли этого хотела. Пастернак себя казнил после смерти Цветаевой: *«Что сделать мне тебе в угоду? / Дай как-нибудь об этом весть. / В молчаньи твоего ухода / Упрек невысказанный есть».*

В конце октября 1941 Пастернак уехал к жене и сыну в Чистополь, уселся за перевод «Ромео». Первую жену Пастернака Евгению Владимировну и сына Женю отправили в Ташкент, Бориса Леонидовича ждала в Чистополе отдельная комната, снятая Зинаидой Николаевной для мужа, сама она поселилась с детьми при доме-интернате, так что у Пастернака была возможность работать. Глубокая провинция не тяготила его, как Цветаеву, неприхотливому Пастернаку Чистополь даже понравился. Он писал Ольге Фрайденберг: *«Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, что ...если бы такую почву трудолюбивому, дисциплинированному населенью, которое бы знало, что оно может, чего оно хочет и чего вправе требовать, любые социальные и экономические задачи были бы разрешены... Для возвращения в Москву требуется правительственный вызов. Их дают неохотно...»*

В ноябре 1942 Пастернак просил Фадеева устроить ему поездку на фронт, но Борису Леонидовичу отказали. 25 июня 1943 на пароходе «Михаил Шолохов» чистопольская колония писателей вернулась в Москву, квартира Пастернака в Лаврушинском оказалась занята зенитчиками, на даче тоже царил разгром. Пастернак временно жил у брата, у Асмусов. В сентябре 1943 ему разрешили поехать на фронт в писательской группе: Симонов, Федин, Всеволод Иванов... Они попали в расположение Третьей армии, которая, освободив Плавск и Чернь, двигалась на Орёл. Пастернак встречался с организатором обороны Тулы Жаворонковым, секретарями райкомов Черни и Мценска. В своем «Воззвании к бойцам Третьей армии» Пастернак так писал о чернских и мценских местах: «*Мы у первоисточника наших лучших национальных сокровищ. В этих уездах сложился говор, сформировавший наш литературный язык... Нигде дух русской неподдельности — высшее, что у нас есть, — не сказался так исчерпывающе и вольно».* Запомним эти слова.

Во время поездки к фронту Пастернак читал Фадееву свои стихи, тот кривился, называл строфы Пастернака «идеологическим искривлением». Выступая перед правлением Союза писателей в сентябре 1946 Фадеев присоединился к гонителям Пастернака, сказав, что не надо «проявлять угодничество» к поэту, который не признает «нашей идеологии», который «ушел в переводы от актуальной поэзии». Сам Фадеев (бывший комиссар 13-го амурского полка и 8-й Амурской стрелковой бригады, выпускник московской горной академии, с 1939 член ЦК ВКП(б), с 1926 по 1932 один из идеологов РАПП, с 1946 по 1954 генеральный секретарь и председатель правления Союза писателей СССР) пишет идеологически правильно, только вот эта правильность, вкупе с алкоголем, вскоре приведет его к смерти. В мае 1956 он застрелился из револьвера на своей даче в Переделкино, написав предсмертное письмо в ЦК КПСС: «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено... Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавленье от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни...».

Лето 1944 Пастернак провел в Москве, а Зинаида Николаевна возделывала огород в Переделкино, необходимый семье в голодное время. С 1945 для Пастернака началось время личных утрат. В апреле 1945 от туберкулеза умер Адриан Нейгауз, старший сын Зинаиды Николаевны. Пастернак писал Ольге Фрайденберг: *«...перевезли из Москвы и похоронили у себя в саду под смородиновым кустом, который он сажал малень-*

ким мальчиком, прах ее старшего сына, умершего от туберкулезного менингита. У меня три месяца жесточайше болит правая рука от плеча до кисти (плексит) и велено носить ее на перевязи, — черновик я пишу левою». Через месяц в Оксфорде умер отец поэта, Леонид Осипович Пастернак. Скудеющую жизнь скрашивало сознание Победы, Борис Леонидович думал, что с Победой начнется «новая эра исторического существования», наступит конец всемирной вражды. Пастернак надеялся — после войны в стране будет больше свободы, можно наконец-то сесть за роман, написать свою «нетленку». Он говорил о своих намерениях в письме Дурылину: *«...мириться с административной росписью сужденного я больше не в состоянии ...сверх покорности... надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени».*

Этим рискованным послевоенным проектом, «честной прозой» и стал для Пастернака роман «Доктор Живаго». Осенью 1945 Борис Леонидович поделился с друзьями планами на большой роман, в феврале 1946 написал Ольге Фрайденберг: *«...я начал большую прозу, в которую хочу вложить самое главное». «Я хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие... эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории».* Роман очень автобиографичен, большую роль здесь занимает любовная история Зинаиды Николаевны, в тексте Милитинский представлен как Комаровский. *«Это мой долг перед Зиной — я должен написать о ней. Я хочу написать роман. Роман об этой девушке. Прекрасной, дурно направленной. Красавица под вуалью в отдельных кабинетах ночных ресторанов. Кузин ее, гвардейский офицер, водит ее туда. Она, конечно, не в силах тому противиться. Она была так юна, так несказанно притягательна»,* — этими словами рассказывал Борис Леонидович сестре Жозефине летом 1935 замысел «Доктора Живаго». «Боря очень зло описал Комаровского, — сокрушалась Зинаида Николаевна, требуя изменений в романе. — Милитинский был значительно выше и благороднее». Но ее уже не спрашивали, Пастернак был непреклонен, изображая Комаровского негодяем, тогда как Зинаида Николаевна вспоминала двоюродного брата с благодарностью, ведь он развивал ее способности к музыке, настаивал, чтобы Зинаида училась, снимал для неё отдельную квартиру на улице Фурштадской в Петербурге, дом 45. С 1916, благодаря Милитинскому, Зина училась на фортепианном отделении Петербургской консерватории, она искренне любила двоюродного брата, своего первого мужчину. Расставание с ним в 1918 Зинаида Николаевна пережила очень тяжело: «Как будто и мою музыку, так связанную с ним, оторвали у меня с кровью». Затем она какое-то время музицировала с Горовицем, училась фортепианному мастерству у Генриха Нейгауза, став его женой. Любовь к музыке она передала трем своим сыновьям, один из них, Станислав Нейгауз, вырос в большого пианиста. Пастернак тоже очень любил музыку, еще и это сближало его с Зинаидой Николаевной: *«Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней — Скрябина. ...жизни вне музыки я себе не представлял. Но у меня не было абсолютного слуха» («Охранная грамота»).*

К декабрю 1946 написаны две первые главы романа «Доктор Живаго». Через год Пастернак закончил 10 стихотворений из «тетради доктора Живаго». О поколении, к которому принадлежит герой романа и сам Пастернак, поэт говорит: *«...эти мальчики и девочки нахватались Достоевского, Соловьева, социализма, толстовства, ницшеанства и новейшей поэзии. Это перемешалось у них в кучу и уживается рядом... Все это... и составляет нашу современность ...она является новой, необычайно свежей фазой христианства».* Довольно смелое утверждение, согласитесь. Но Пастернак постоянно думал о Боге, у него религиозное сознание, как и у атеиста Чехова. Пастернак говорил позже Крашенинниковой, что *«свое богословие вычитал у Чехова».*

В это время Пастернак много выступал на поэтических вечерах в Мо-

скве, возрождая ненависть к себе у «правильных» писателей и поэтов. В апреле 1946 он пришел на встречу в Колонный зал Дома союзов ленинградских и московских поэтов, немного опоздал, появился в зале во время выступления А. Суркова. Того вынудили прерваться, потому что зал встретил Пастернака стоя, аплодисментами. Пастернак открывал стихами второе отделение встречи, его долго не отпускали с эстрады, заставляя читать еще и еще. Для Суркова это было непереносимо. За что такие почести идеологически неграмотному Пастернаку!? Сурков решил Пастернака добить, все возможности у него были — он ответственный редактор журнала «Огонек», с 1952 член Центральной ревизионной комиссии КПСС, позже станет кандидатом в члены ЦК КПСС (1956-1966), а под ногами путается какой-то несознательный. В марте 1947 Сурков написал статью «О поэзии Б. Пастернака», где говорило «скудных духовных ресурсах» Пастернака, о неспособности Пастернака «породить большую поэзию».

Кроме Суркова нашелся еще один гонитель Пастернака — Смирнов Александр Александрович, — главный советский шекспировед того времени. Он активно пытался блокировать выход шекспировских переводов Пастернака, хотя всем было понятно — переводы гениальны. Зачем он это делал? Думаю, возревновал к Шекспиру, обиделся, что Пастернак не посоветовался с «большим человеком». Пастернак старался не обращать на своих критиков пристального внимания, но не всегда получалось, он писал Ольге Фрайденберг в январе 1947: *«Что мне Смирнов, когда самый злейший и опаснейший враг себе и Смирнову — я сам, мой возраст и ограниченность моих сил… В осеннюю проработку… я задет и запачкан тем, что Зине приходится болеть и оскорбляться за меня, а я это сношу и не смываю двойным ответным оскорблением».*

Смирнов вслед за Сурковым накатал статью «О поэзии Б. Пастернака» для газеты «Культура и жизнь», где обвинял Бориса Леонидовича в «отрешенности от общественных эмоций» и других подобных грехах. Ольга Фрайденберг ввела брата в курс дела: *«Знаю я Смирнова лет пятнадцать. Мы работаем бок обок. Это совершенное ничтожество. О научном его лице говорить не приходится: его нет! Но тип любопытный. В прошлом матерый развратник, державший на юге виллу для целей недозволенного «экспериментаторства», чем и стал известен. Потом женился на богатой даме. Откупщик, за неимением водки, художественных переводов, своего рода «капиталист» Литиздата, имеющий своих производителей, которых обирает. Внешняя манера — головка набок, отвисшая губа, молящий взгляд. Пресмыкается. На (учебной) кафедре леопард. Говорит о «гедонизме» и «эстетизме». Неудачно играл на религии и мистике средних веков, переехал на Шекспира, был зело бит, начал маскироваться под шекспироведа; цепляется, чтобы и тут быть откупщиком. В 1937, сильно перепуганный, всем объяснял, что он не дворянин, не Александр Александрович, не Смирнов, а Абрам Абрамович, незаконный сын банкира и экономки, душой и телом с демократией».* Википедия сейчас тоже утверждает, что Смирнов «рожден женой товарища обер-прокурора Сената Смирнова от Абрама Исааковича Зака, директора крупного петербургского банка»… Смирнов остался в истории как театровед, филолог-романист, основоположник советской кельтологии. Был доктором филологических наук и профессором Ленинградского университета с 1934 по 1958, выступал как литературный критик в журнале «Новый путь» Мережковского и Гиппиус, дебютировал как поэт в 1905 под одной обложкой с Ходасевичем, до революции ездил во Францию и Испанию, где изучал историю кельтов. С мая 1917 жил в Алуште, где его жена содержала дачный пансион. Там собирались, как в Коктебеле у Волошина, философы, поэты, артисты — Слонимский, Мандельштам, режиссер Радлов с женой, будущей переводчицей Шекспира, — нравы у богемы всегда были свободные, не удивительно, что Смирнову нравились переводы Шекспира от Анны Радловой, а перево-

ды Пастернака он считал «искажающими образ и мысль Шекспира, и потому объективно вредными».

Давление на Пастернака становилось все больше, он вновь жил под угрозой ареста, констатируя в письме Ольге Фрайденберг: *«Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему с Сашкой и со всеми могло быть, а со мною не будет? Ничего никому не пишу, ничего не отвечаю. Нечего. Не оправдываюсь, не вступаю в объяснения… Может быть все обойдется. В прошлом у меня действительно много глупой путаницы. Но ведь моя нынешняя ясность еще менее приемлема» (март 1947).* Ольга Фрайденберг вспоминала позже в дневниках: «Боре было плохо. Его лягали, где могли. Ведь искусство, как наука, не имело право переписки и числилось среди арестантов… Я не смела написать Боре. Вся частная переписка перлюстрировалась».

Запершись в Переделкино, чтобы меньше слышать крики гонителей, Пастернак продолжал работать над «Живаго» без надежды опубликовать роман, просто чтобы выговориться перед собой, Богом, будущими поколениями. Ему нужно *«закончить зимою роман, начинание совершенно бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназначен… я не знаю, осталось ли на свете искусство, и что оно значит еще. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое письмо им» (в ноябре 1948).*

Ольга Фрайденберг, поддерживая брата, твердила: «Фауст — это монумент твоей славы… Тут уж нет ни вкусов, ни школ… Сурков ты или Исаковский, Бурлюк или… Александр Александрович Смирнов. На Фаусте они зубы себе обломают, потому что это шире — для русской культуры, — чем Шекспир или Пастернак. Это первый русский Гете…» (январь 1954). Пастернак работал в это времятак мощно, его мировая известность продолжала расти, с 1946 его каждый год выдвигали на Нобелевскую премию, Борису Леонидовичу даже приходится оправдываться перед Фадеевым за свою популярность на Западе. А ведь «Живаго» на Западе еще не видели, Пастернак анонсирует свое произведение: *«Роман …охватывает время от 1903 до 1929 года, с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне. Герой — Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записки и среди других бумаг написанные в молодые годы, отделанные стихи, часть которых здесь предлагается».*

Пастернак сообщал Ольге Фрайденберг летом 1946, вернувшись жить в Переделкино, мотивы создания своего романа: «С июля месяца я начал писать роман в прозе… Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей… Нельзя без конца… жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, — а вся моя жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе». Пастернак считал, что именно в романе его талант найдет свое полное выражение. Он много работает, читает свежие главы романа Федину, Всеволоду Иванову, Ахматовой, дочери Скрябина, посылает их Каверину. Большинству литераторов текст не понравился, многие говорили, что написано бледно. Всеволод Иванов, например, отмечал «неотделанность манеры и разностильность» (3). Ахматовой героиня романа показалась «пошлой и заземленной» (3). В романе и, правда, нет блестящего стилистического мастерства, как у Бунина в «Жизни Арсеньева», у Набокова в «Лолите», у Алексея Толстого в «Хождении по мукам», у Булгакова в «Мастере и Маргарите». Но в «Живаго» есть мыслительная смелость, удивительная по тем временам искренность, правда умного, глубокого, честного взгляда в условиях, когда можно было потерять свободу за неосторожно высказанную мысль, за принадлежность к врачебному цеху, за пятую графу в паспорте.

С середины 1947 в СССР началась борьба с «космополитизмом». На Западе уже то время появились проекты объединения народов и государств в мировых масштабах. Черчилль продвигал идею замены ООН англо-американским союзом. В моде был лозунг «Соединенных штатов Европы», Бертран Рассел тут и там говорил о создании «мирового правительства под эгидой США». О желательности «мирового правительства» высказался Эйнштейн, российские ученые-физики выступили с несогласием: «всемирное правительство будет лишь прикрывать мировое господство монополий». Сталин дал отмашку начать борьбу с «космополитизмом», активно занимался этим отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС во главе с М.А. Сусловым и Д.Т. Шепиловым, суть выступлений которых была в том, что «советский строй в сто крат выше и лучше любого буржуазного строя. Еще один тогдашний теоретик — секретарь ЦК Жданов, — он проповедовал «поворот от интернационализма к социалистическому патриотизму», введя в оборот словосочетание «безродный космополит». Исполнителей сдерживал Сталин, весной 1949 он дал указание: «Не надо делать из космополитов явление. Не следует сильно расширять круг. Нужно воевать не с людьми, а с идеями». В качестве борьбы с идеями в СССР тогда начались дискуссии о языкознании, письменность малых советских народов перевели на кириллицу, о новом учебнике политэкономии, в котором говорилось о «неизбежности войн между капиталистическими странами». Пастернакв это время продолжал работать над романом, тем более, что у него появилась новая муза.

В конце 1946 в редакции «Нового мира» он познакомился с 34-летней Ольгой Всеволодовной Ивинской. Зинаиде Николаевне былоуже 48 лет и 56-летнего Пастернака дружба с молодой женщиной вдохновляла. Ивинская и Пастернак гуляли по Москве, он передал героине романа внешность Ольги. Любовь Живаго к «девочке из другого круга» Ахматовой не нравилась. Зачем это? Пусть бы доктор-поэт влюбился в женщину своего круга, например в поэтессу, похожую на нее или Цветаеву. Но у Пастернака другой идеал — *«униженные и растоптанные женщины»,* — он позже несколько раз говорил об этом Масленниковой. Кем же часто унижены и растоптаны женщины? Мужчинами, Ольга Ивинская тоже из их числа. Ее дочь, живущая во Франции, писала в воспоминаниях, что «у матери до Пастернака были десятки мужчин, но ни одного после…» Здесь каждый может расставить акценты как угодно, это не мое дело.

В момент знакомства Ивинской с Пастернаком она — младший редактор журнала «Новый мир». В октябре 1946 Пастернак зашел в редакцию журнала, где Ивинская работала в отделе поэзии. Она вспоминала: «Его желтоватые конские зубы, широко раздвинутые посередине, дополняли великолепным своеобразием его удивительное лицо… Это был требовательный, такой оценивающий, такой мужской взгляд, что ошибиться было невозможно: пришел человек, действительно необходимый мне, тот самый человек, который, собственно, уже был со мною. И это потрясающее чудо…» (из книги Ивинской). Они стали встречаться, отношения долго оставались дружескими, деликатный Борис Леонидовичвсего лишь провожал Ольгу до Потаповского переулка, где она жила с родителями и детьми. До знакомства с Пастернаком Ивинская дважды была замужем, от первого брака имела дочь, от второго — сына. С Пастернаком Ольга говорила на одном языке, знала наизусть много его стихов, смотрела на него как на Мастера, да и внешне Ольга была очень привлекательна — очаровательная молодая блондинка с красивым лицом, пышными формами, хорошей фигурой, золотыми волосами, волнующим певучим голосом…Такого сочетания не выдержит ни один поэт нормальной ориентации, Пастернак однажды вечером по телефону признался Ольге в любви. Друзьям в это время он говорил, что встретил свой идеал. При этом бросить Зинаиду Николаевну порядочный Па-

стернак никак не мог: он развалил ради нее две семьи, много раз давал ей обещания и теперь не мог от них отступиться. Зинаида Николаевна прошла рядом с ним самые тяжелые годы, самоотверженно заботилась о нём, родила ему сына… 3 апреля 1947 Борис Леонидович пытался разорвать неокрепшие отношения с Ивинской, «говорил, что не имеет права на любовь, все хорошее теперь не для него, он человек долга, и я не должна отвлекать его от проторенной колеи жизни и работы, но заботиться обо мне он будет всю жизнь» (из книги Ивинской). Но и жить без народившейся любви у поэта не получалось, на следующий день после звонка Пастернак снова стоял под ее дверью, в этот день они стали по настоящему близки. Ольга тоже сильно привязалась к поэту, хотя оба понимали — новое чувство принесет им боль, Ольга неспроста написала стихотворенье: *«Играй во всю клавиатуру боли, / И совесть пусть тебя не укорит/ За то, что я, совсем не зная роли, / Играю всех Джульетт и Маргарит»*.

Зинаида Николаевна, конечно, вскоре узнала о романе мужа, начала воевать за мужа и свою семью. Когда заболел их сын Леонид, она у постели больного ребенка взяла с мужа клятву, что тот никогда больше не станет встречаться с Ивинской. А сама поехала к сопернице, потребовала «прекратить преследовать ее мужа», сказала, что будет бороться. Случился безобразный скандал, Ивинская кричала, что Пастернака тяготит супружество, что они любят друг друга и Зинаиде Николаевне надо отпустить мужа на свободу… После ухода Зинаиды Николаевны Ольга наглоталась таблеток, но испугалась смерти, вспомнив о своих детях, вызвала «Скорую». При этом родители Ольги встали полностью на сторону Зинаиды Николаевны, умоляя дочь оставить в покое старого и глубоко женатого человека. По своему они были правы, только вот убить настоящее чувство со стороны невозможно, это может сделать сам любящий, а Пастернак этого не хотел или не мог, тем более, что в их чувства вмешалась советская власть.

6 октября 1949 за любовь к Пастернаку Ольгу Ивинскую, находящуюся на 6-м месяце беременности, арестовали! Судя по вопросам следователей из ныне открытого дела, Пастернаку инкриминировали «контакты с английской разведкой», готовился его арест, но Сталин не давал санкции на уничтожение «нэбожителя». За неимением лучшего свидетеля его шпионской деятельности, следователи допрашивали Ольгу: «Зачем молодая женщина связалась с пожилым Пастернаком!? С чем это связано?» «Это связано с любовью, — отвечала Ивинская, — я люблю его как мужчину» (из книги Ольги Ивинской). Никаких показаний против Пастернака Ольга Ивинская не дала, хотя допрашивали ее с пристрастием, втюрьме у нее случился выкидыш. Затем «какой-то прыщавый лейтенант объявил мне заочный приговор «тройки»: пять лет общих лагерей «за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже» (из книги Ольги Ивинской). Ольгу отправили в Потьму, где она провела три года, изредка получая письма от несчастного Пастернака, который ничем не мог ей помочь. Он мучился, говорил после, что *«ее посадили из-за меня, как самого близкого мне человека, чтобы на мучительных допросах под угрозами добиться от нее достаточных оснований для моего судебного преследования. Её геройству и выдержке я обязан своей жизнью и тому, что меня в те годы не трогали»*. Ольга своей преданностью и самоотверженностью окончательно доказала Пастернаку силу своей любви. Борис Леонидович писал 9 октября 1949 Ольге Фрайденберг: *«…Моя знакомая и тезка твоя, о которой я тебе писал, попала в беду и переместилась в пространстве подобно, когда-то, Сашке. Я страшно много работаю… глушу себя работой» (декабрь 1949). «Этот Фауст… он переведен кровью сердца… одновременно с работой и рядом с ней были и тюрьма, и прочее, и все эти ужасы, и вина, и верность» (январь 1954).*

Конечно же, Пастернак изо всех сил поддерживал семью Ольги Ивинской, став после смерти отца Ольги главной опорой ее детей. Дочь Ивин-

ской во Франции позже писала в воспоминаниях, что именно Пастернаку они «обязаны бедным, трудным, но все-таки человеческим детством, в котором можно вспомнить не только сто раз перешитые платья, гороховые каши, но и елки, подарки, новые книги, театр. Он приносил нам деньги...».

Из лагерей Ольгу Ивинскую освободили в первую же послесталинскую амнистию весной 1953. 63-летний Пастернак винил себя в ее несчастьях, боялся снова навредить ей, пытался удерживаться на уровне дружеских отношений, но все же не выдержал, пришел к ней домой, любовь вспыхнула с новой силой. Чтобы стареющий поэт не мотался на электричках к ней в Москву, Ольга с дочерью перебралась поближе к нему в деревню Измалково, сняла там небольшую комнату с террасой. В эту комнату к ней почти ежедневно и приходил Пастернак — в кепке, в резиновых сапогах, в грубом плаще. Зинаида Николаевна к этому времени постарела, признала удивительную преданность Ольги, смирилась с ее присутствием в их жизни. Ольга Ивинская перепечатывала на машинке рукопись «Доктора Живаго», затем текст правился Пастернаком и отдавался профессиональной машинистке. Ольга взяла на себя и роль курьера для поездок в Москву: туда везла рукописи, оттуда — деньги.

Общественное положение Пастернака оставалось двусмысленным. С одной стороны, его стихи во всем мире признавали классикой, с другой, в СССР Пастернака продолжали критиковать. Осенью 1952 Пастернак перенес обширный инфаркт миокарда, едва не умер, долго лежал в больнице, чувствуя себя *«так не в тон»* с другими советскими людьми, *«так не с жизнью»*. В 1952 к Борису Леонидовичу пришел домой с тетрадкой стихов четырнадцатилетний Андрей Вознесенский, мировой классик дал мальчику почитать рукопись «Живаго» и тетрадку стихов к нему. Эта встреча определила всю дальнейшую жизнь Вознесенского.

Первые полгода 1953 Пастернак провел в санатории, приходя в себя после инфаркта, там и узнал он важную новость: умер Сталин. Тридцатилетнее правление Сталина сильно изменило народный характер, общественные отношения, экономику, армию, международное положение страны. Впереди маячила политическая неизвестность, но радовало возвращение арестованных.

В сентябре 1953 к власти пришел Хрущев, расчищая себе дорогу борьбой с «культом личности» Сталина. Процесс либерализации в СССР назвали «хрущевской оттепелью», по названию повести «Оттепель» Эренбурга, опубликованной журналом «Знамя» в 1954. Изменения в жизни страны при Хрущеве оказались огромными (нельзя без ущерба менять законы и общественные отношения в стране слишком часто, но в СССР это делали при каждом руководителе): помимо выпущенных Берией заключенных, на XX съезде партии отказались от диктатуры пролетариата, ослабили цензуру в искусстве, большей частью отменили систему финансовых вознаграждений за хорошую работу... Вышли на экраны фильмы «Весна на Заречной улице», «Карнавальная ночь», «Человек-амфибия». В 1955 возобновили журнал «Иностранная литература», глотком свободы стал журнал «Новый мир» под руководством Твардовского. В 1950 его назначили туда главным редактором, в 1954 отстранили за острые публикации Абрамова, Лифшица, Померанцева, Щеглова... Твардовский возглавит журнал снова в 1958, опубликует лучшую русскую прозу Астафьева, Белова, Абрамова, Бондарева... Но пока интеллигенция читала Фолкнера, Ремарка, Хемингуэя. В рассказе Хемингуэя «Старик и море» (1952) прозвучала фраза, ставшая девизом целого поколения: «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». В русскую литературу вернулась мода на честность, игровое начало, уходили в небытие ограниченность тем и характеров, настойчивее зазвучала мысль о самоценности человека, независимо от его убеждений. Но в 1953 Пастернак еще не видит возможностей для публикации романа, при всей своей независимости: *«Я уже и раньше, в самое еще страшное время,*

утвердил за собою род независимости, за которую в любую минуту мог страшно поплатиться. Теперь я могу ею пользоваться с гораздо меньшим риском... Но внешне ничего не изменилось. Время мое еще не пришло. Писать глупости ради их напечатанья я не буду. А то, что я пишу, все с большим приближением к тому, что думаю и чувствую, пока к печати непригодно...» (декабрь 1953 Ольге Фрайденберг). С развитием «оттепели» надежда увидеть роман изданным появилась. Борис Леонидович торопится закончить роман, пока свободу не отменили. Он понимал, что демократизация может быть вскоре оборвана, так и случилось в 1956, после событий в Венгрии. Пастернак торопился еще и по другой причине — в любой момент очередной инфаркт мог поставить крест на романе. Думал ли Пастернак о том, что его неприятие коммунистической идеологии «не в масть» с тогдашним развитием жизни? Думал, судя по письмам, но измениться уже не мог, хотя советская система при раннем Хрущеве стремительно развивалась: темпы роста экономики превышали американские, советская страна блистала невероятными достижениями, но главными ценностями Пастернака были показатели, находящиеся внутри человека.

При этом растущее признание Пастернака на Западе проявлялось тем, что его каждый год выдвигали на Нобелевскую премию по литературе. Ольга Фрайденберг писала брату в ноябре 1954: «есть слухи, что тебе присудили Нобелевскую». Пастернак призывал ее не обольщаться: *«...ты не представляешь себе, как натянуты у меня отношения с официальной действительностью и как страшно мне о себе напоминать. При первом движении мне вправе задать вопрос о самых основных моих взглядах, и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее... И мне надо жить глухо и таинственно. Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой (присуждение Нобелевской), чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями... не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклою, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман... Вот ведь вавилонское пленение!... Я горжусь одним; ни на минуту не изменило это течение часов моей простой, безымянной, никому не ведомой трудовой жизни. Есть ангел хранитель у меня в жизни. Вот что главное. Слава ему...» (Ольге Фрайденберг, ноябрь 1954.)*

Ангел хранитель Пастернака, и правда, трудится, не покладая рук и крыльев: дом в Переделкино, который Борис Леонидович арендовал у Литфонда, в 1954 капитально отремонтировали. В доме появились водопровод, ванна, газ, огромный кабинет с паркетным полом, три новые комнаты, центральное отопление. Пастернак ошарашено писал Ольге Фрайденберг: *«мне неловко в этих помещениях, это не по чину мне, мне стыдно стен огромного моего кабинета» (1).* Сообщал однофамильцу своего гонителя, Смирнову: *«Я лишился художественной собранности, внутренне опустился, как ослабнувшая тетива или струна... Но внутренне для себя мне не на что жаловаться. По наполнению, по ясности, по поглощенности любимою работой жизнь последних лет почти сплошной праздник души для меня» (3).* Пастернаку хочется больших степеней свободы, хрущевское благополучие воспринимается им как застой. Он пишет Шаламову в октябре 1954: *«Ужасна это торжествующая, самоудовлетворенная, величающаяся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески-застойная».* А среди его поколения усиливается листопад — уходят один за другим друзья, сверстники. В ноябре 1955 умерла Ольга Фрайденберг. Почти все близкие отняты у нее, она уходит без сожаления. Еще в 1945, после кончины матери, она записывала в дневнике: *«Пустая квартира... Сердце стало сухое и пустое. Оно не восприимчиво к радости... Только одна мысль способна оживить меня — мысль о смерти. Больше ничем я по-настоя-*

щему не интересуюсь. Я утратила чувство родства и дружбы. Друзья меня тяготят… Я доживаю дни. У меня нет ни цели, ни желаний, ни интересов. Жизнь в моих глазах поругана и оскорблена… дух угас. Он погиб не в борьбе с природой или препятствиями. Его уничтожило разочарованье. Он не вынес самого ужасного, что есть на земле — человеческого униженья и ничтожества… Я видела биологию в глаза. Я жила при Сталине. Таких двух ужасов человек пережить не может. Перенести такие мучительства возможно было только при крепкой опоре любви и родства. Я осталась одна. Мою жизнь вырвало с корнем…»

В отличие от Ольги Фрайденберг, Пастернак не одинок — у него есть жена, дети, любимая подруга, творчество и небесная миссия сказать миру правду о своем времени. К окончанию 1955 Пастернак дописал своего «Живаго», дал роману чуточку отлежаться, поправил и отдал рукопись в два главных российских журнала того времени — «Новый мир» и «Знамя», — ожидая приговора. От мнения редакций журналов зависит для него очень многое. Свобода «оттепели», в духовном плане, весьма относительна. Верить в Бога снова не рекомендуют, обещают вскоре «последнего попа показать по телевизору», в творчестве же советских людей «никакого модернизма, никакого авангардизма, покупайте культурку» (Гайдай «Кавказская пленница»). Только что застрелился Фадеев, Пастернак откликнулся на это не опубликованным стихом, хорошо отражающим его тогдашнее настроение: *«Культ личности забрызган грязью. / Но на сороковом году / Культ зла и культ однообразья / Еще по прежнему в ходу. /И каждый день приносит тупо, / Так что и вправду невтерпеж, / Фотографические группы / Одних свиноподобных рож. / И культ злоречья и мещанства / Еще по прежнему в чести, / Так что стреляются от пьянства. / Не в силах этого снести».*

С таким настроением жить трудно. Критические стихи «на злобу дня» Пастернак по прежнему уничтожает (это восстановила по памяти Ивинская), публиковал он *«Во всем мне хочется дойти», «Быть знаменитым некрасиво»*, написанные в начале 1956. В этих стихах он достиг полной творческой зрелости — его строчки 1950-х глубоки, емки, прозрачны по форме и смыслу, — со стихами все хорошо, а вот с романом проблемы, редакции молчат, Пастернак начинает волноваться. Мне кажется, он боялся умереть, не увидев роман изданным, боялся, что случится очередной инфаркт — и роман положат на полку, в «спецхран». Отчасти поэтому, наверное, в июне 1956 он и передал рукопись романа «для ознакомления» приехавшему к нему на дачу сотруднику итальянского радио в Москве, члену компартии Италии, Д-Анджело. Пастернак хотел, чтобы его труд стал достоянием человечества, на случай смерти. А Д-Анджело тут же переслал рукопись миланскому коммунистическому издателю Дж. Фельтринелли. Пастернаку, в каком-то смысле, не повезло. Фельтринелли был человеком радикально левых взглядов, эдакий анархист с повадками гангстера, обладавший, к тому же, хорошим коммерческим чутьем. Он сразу понял — у него в руках литературная сенсация, — требуя разрешения Пастернака перевести роман, издать его в Италии. Это не входило в планы Бориса Леонидовича, он просил Фельтринелли не торопиться, подождать выхода романа в России, прекрасно понимая последствия: *«…если его публикация здесь, обещанная многими нашими журналами, задержится, и Вы ее опередите, ситуация для меня будет трагически трудной»*. Фельтринелли согласился ждать, к середине сентября 1956 из «Нового мира» пришел отрицательный ответ редакции: журнал отказался от публикации романа. В редакционных спорах, которые тогда стенографировались, благополучные русские писатели говорили, что «нужна была четко выраженная авторская позиция в защиту социализма, а «Живаго» этого полностью лишен»; что «толстовское по духу неприятие насилия и осуждение жестокостей революции», которыми наполнен роман, не совсем то, что надо. Рецензию на роман писал Симонов, поправки и дополнения туда вносил Федин, на тот мо-

мент первый секретарь Московской писательской организации. Федин расцветил рецензию унизительными терминами: «гипертрофированный индивидуализм», «самовосхваление». Пастернак обиделся. Он ведь не делал себя героем романа, где там Федин обнаружил самовосхваление? А Федин просто двигался по накатанной колее, не хотел портить свою прекрасно развивающуюся карьеру. В молодости он ездил в Германию практиковать немецкий, был интернирован, до 1918 работал актером в театрах Циттау и Герлица, затем вернулся в Россию, печатался в партийных газетах, был секретарем «Серапионовых братьев», написал в 20-х неплохой роман «Города и годы» о своей жизни в Германии, о гражданской войне в России, роман «Братья» о русской интеллигенции в революции, заболел туберкулезом, два года снова жил в Швейцарии и Германии, счастливым образом избежал шестеренок «большого террора» после всех своих заграничных бытований, с 1947 был руководителем секции прозы и председателем правления Московского отделения Союза писателей СССР... Зачем ему было рисковать? Он превратился в литературного чиновника, вымучивал новый роман «Костер» про оборону Тулы от фашистских захватчиков, получая материалы от тульского писателя...

Пастернак разочарован, он еще по-соседски привычно идет отмечать сдвоенный день рождения Федина и Вс. Иванова, традиционный для Переделкино, но при этом смотрит на бывших друзей уже другими глазами. Дома он записал стихотворение: *«Друзья, родные, милый хлам. / Вы времени пришлись по вкусу! / О как я вас еще предам, / Глупцы, ничтожества и трусы. / Быть может в этом божий перст, / Что в жизни нет для вас дороги, / Как у преддверья министерств / Покорно обивать пороги»...*

Но что делать Федину и Симонову? Они получили от советской родины и своего народа признание, феноменальные тиражи, небывалые гонорары, властные посты, зарубежные поездки, квартиры, дачи... Оплевать все? Ради чего? Пастернак абсолютно правильно считает, что *«каждый человек, каждый в отдельности единственен и неповторим. Потому что целый мир заключен в его совести...* (из ответов журналу «Магнум» на анкету «Что такое человек?»), но существует много других истин: человек без своего народа, в отрыве от народа, похож на перекати-поле — несет его ветром истории до какого-нибудь оврага, до какого-нибудь куста, где он немного задержится, сознание человека привыкло опираться на понятие родины, а родина русских пытается строить новое, справедливое общество, отстояв это право в мировой войне, и надо ли поливать первые шаги общества, шаткие и с падениями, как у всех новорожденных? Ведь роман «Доктор Живаго» — критический по отношению к Советской России, если не сказать антисоветский. У каждого своя правда, у многогранной истины много сторон. Мудрый Симонов говорит на обсуждении «Живаго»: редакция зря отказывается от печати, гораздо хуже, если роман выйдет за границей, «...умнее напечатать роман в Союзе, чем делать его пропагандистской добычей Запада». Не знаю, согласился бы Пастернак роман отредактировать, убрав самые острые места для более поздних публикаций? Но решили вообще не печатать. В Кремле «Живаго» еще не читали, поэтому осенью 1956 Рубен Симонов успел поставить в театре имени Вахтангова «Ромео и Джульетту» в переводе Пастернака. Юрий Любимов играл там Ромео, а Целиковская — Джульетту. Пастернак доживал свои последние легкие дни на земле — он весел, общителен и успешен, вокруг него клубится творческая молодежь из Польши, России, ГДР. 7 января 1957 Пастернак, непонятно на что надеясь, подписал договор с «Гослитиздатом» на публикацию «Доктора Живаго», поэтому в феврале 1957 он снова обратился к Фельтринелли с просьбой ждать, пока роман выйдет в Москве. И Фельтринелли согласился, к Пастернаку он относился уважительно. В МХАТе начались репетиции пьесы «Мария Стюарт» в переводе Па-

стернака, помимо романа в «Гослитиздате» набирают пастернаковский сборник «Стихотворения и поэмы», но тут с текстом романа ознакомился Сурков. Тут же внезапно умер директор «Гослитиздата», работу над сборником и романом Бориса Леонидовича остановили. Над Пастернаком незримо сгущались тучи. Он писал Нине Табидзе в августе 1957: *«... несколько очень страшных дней. Что-то случилось касательно меня в сферах, мне не доступных... Тольятти предложил Фельтринелли вернуть рукопись и отказаться от издания романа. Тот ответил, что скорее выйдет из партии, чем порвет со мной, и действительно так и поступил... Как всегда, первые удары приняла на себя О.В.* (Ивинская — С.О.) *Ее вызывали в ЦК и потом к Суркову. Потом устроили секретное расширенное заседание секретариата президиума ССП по моему поводу... Сурков читал вслух... целые главы из поэмы. На другой день О.В. устроила мне разговор с Поликарповым в ЦК. Вот какое письмо я отправил ему через нее еще раньше, с утра. «...Я написал то, что думаю и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверяю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и таким образом, дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».* Пастернаку организовали встречи с Поликарповым и Сурковым, они потребовали вернуть рукопись из Италии «для переработки». Борис Леонидович согласился, послал Фельтринелли телеграмму с просьбой вернуть текст, остановить издание, но было уже поздно. Итальянский перевод «Живаго» завершен, Фельтринелли «вложился» в модернизацию типографии, чтобы качественно издать «Живаго», теперь он хочет вернуть свои деньги. Политического давления он вообще не терпел, после «Живаго» издал «Цитатник Мао Цзедуна», затем поехал спасать в Боливию Дебре и Че Гевару, был осужден за организацию взрыва кинотеатра, ушел в подполье и вскоре его убили при невыясненных обстоятельствах. Напрасно в октябре 1957 Сурков ездил в Милан уговаривать Фельтринелли отказаться от Пастернака, 15 ноября 1957 «Живаго» вышел по-итальянски.

Такой самодеятельности в СССР тогда не прощали. В 1965-1966 за самовольные публикации на Западе посадят Синявского и Даниэля, это станет началом диссидентского движения в СССР, но в 1957 Пастернака не трогают, он спокойно готовит рукопись книги «Когда разгуляется», размышляя о происходящем.

Что было делать советскому руководству? «Живаго» роман исторический, но ведь история — не только и даже не столько прошлое, скорее будущее. Каких героев ты себе выберешь в прошлом, такое будущее ты выстроишь. Да, неподготовленный к исторической сложности человек воспринимает историю в виде мифов, рабочий человек «Живаго» и не будет читать, но Запад станет использовать его книгу как аргумент. Пастернак все это прекрасно понимает, он пишет сестре: «правильно понятое настоящее уже и есть будущее»,он призывает другое будущее: *«Когда я с честью пронесу / Несчастий бремя, / Означится, как свет в лесу, / Иное время...» («Когда разгуляется»)* Он призывал иное, наше время, как бы мы к нему не относились, работал для него, сознательно принося себя в жертву будущему. Подобно Толстому, не мог молчать о своей правде, мог бы жить и умереть в покое, славе, комфорте. Но песни иного рвались у него из груди, недаром он сравнивал себя с глухарем на току: *«Дай мне подняться над смертью позорной. / С ночи одень меня в тальник и лед. / Утром спугни с мочежины озерной. / Целься, все кончено! Бей меня влет».* Никаким канонам и заветам (партии, Ленина, Сталина, Хрущева) он следовать не хотел: *«Не надо следовать заветам / Ничьих эпох. / Вся жизнь со всем ее секретом — / Как этот вздох... / Чтобы подслушать эту душу / И клад унесть, / Я не один закон нарушу, / А все как есть».*

И Пастернак, действительно, нарушал все неписанные законы тог-

дашнего СССР. «Доктор Живаго», и вправду, был антисоветским романом. Судите сами, вот что говорит Живаго: *«Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины». Живаго о коммунистах: «Для них существование — это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий». Еще про коммунистов: «Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и, тем не менее, мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас, и ну вас всех к черту. Властители ваших дум… забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать, особенно тех, кто об этом не просит. Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, ото всего, что мне дорого и чем я жив…»*

Каково это было читать Поликарпову, Суслову, Суркову? Что было делать Симонову и Федину? Они были искренне убеждены в другом: СССР — лучшая страна в мире, они работают для блага этой страны, при Сталине допускались ошибки, ненужные жестокости, но все ошибаются, теперь нужно думать о будущем. У меня рука не поднимается написать, что их мнение было хуже, ущербнее мнения Пастернака. У каждого своя правда. Что удивительно — писался «Живаго» при Сталине, Пастернак давал читать другим свою рукопись, никто из его друзей не был предателем, доносчиком! Когда началась травля Пастернака, многие вели себя тоже порядочно, хотя и не все.

В ноябре 1957 «Живаго» вышел по-итальянски, в начале 1958 его напечатали на русском языке в Голландии. Чтобы получить Нобелевскую премию, требовалось издать книгу на языке оригинала. Есть информация, что первое издание на русском подготовили на деньги американских спецслужб, книгу Пастернака использовали в борьбе с СССР. Когда Хрущеву доложили о происходящем, он разъярился: чуть-чуть дали народишку послабление и они уже начали баловать?! Ну, я вам покажу! Пастернака, скорее всего, посадили бы, как Синявского и Даниеля, но Борису Леонидовичу присудили Нобелевскую премию, а посадка нобелевского лауреата — это чересчур даже для Хрущева. Пастернак выдвигался на Нобелевскую премию и раньше, четыре года подряд с 1946 по 1950, затем в 1953 и в 1957. Получивший в 1957 премию по литературе Альбер Камю в своей торжественной речи вновь говорил о Пастернаке (право выдвигать претендентов на премию имеют университеты, нобелевские лауреаты и сам организационный комитет) — после выхода «Живаго» (в переводе стилистические огрехи романа не так заметны) в глазах мировой общественности премию дали Борису Леонидовичу с полным основанием «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы».

Борис Леонидович узнал о присуждении ему премии 23 октября 1958 из телеграммы секретаря Нобелевского фонда А. Эстерлинга. Телеграммой ответил: *«Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен».* Новость стала мировой сенсацией, роман разлетался из книжных магазинов как горячие пирожки, в конце октября о Пастернаке в своем докладе упомянул госсекретарь США Дж. Даллес — он сказал, что роман нобелевского лауреата «осудили и не напечатали в СССР».

Хрущев пришел в крайнее негодование. Какой-то стихоплет — так он говорил, — живет в СССР, пользуется всеми благами лучшей в мире страны, да еще, при этом, свою родину осуждает! При этом, в одном только 1957, в СССР создан самый мощный в мире синхрофазотрон, спущен на воду первый в мире атомный ледокол, запущен первый искусственный спутник земли! Готовится пилотируемый космический полет, строится первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет, в мире нет равных советским шахматистам Ботвиннику и Смыслову! Фильм «Летят журавли» взял в Каннах «Золотую пальмовую ветвь», в Москве возведен грандиозный комплекс зданий ВДНХ, с августа 1958 начинает работать одна из самых крупных в Европе Волжская ГЭС! СССР получил золотую медаль на всемирной выставке в Брюсселе за свой автопром, выпустив более полумиллиона автомобилей, которые расхватывают в стране и мире — в том числе знаменитые «Москвич-407», «Волга», «Чайка» в стиле «детройтского барокко»! Страна еще двадцать лет назад ездила на телегах, а теперь «Чайки»! Героическими усилиями народ только что распахал казахскую целину, в 1958 соберут рекордные 72,9 млн. тонн зерновых, побив рекордный показатель 1937 года! Доступное жилье строится миллионами квадратных метров, появились первые стиральные машины, телевизоры «Рекорд» и «Авангард», в ГУМе для советских женщин продаются прекрасные духи, пальто, обувь, не отличающиеся от западных образцов, детская одежда предлагается дешево и массовыми партиями! Для советских людей построены и оборудованы тысячи санаториев, пионерлагерей с потрясающим «Артеком» во главе, многие путевки гражданам достаются бесплатно! Действуют абсолютно бесплатные для граждан, едва ли не лучшие в мире советские медицина и образование, по всем показателям СССР — передовая страна своего времени, а Пастернаку не нравится? Он подпевает Даллесу, который спит и видит, как СССР уничтожить!? Хрущев приказал разобраться.

В тот же день Президиум ЦК КПСС по «входящей» записке Суслова принял постановление «О клеветническом романе Б. Пастернака», где присуждение Пастернаку Нобелевской премии называлось «враждебным по отношению к нашей стране актом и орудием международной реакции, направленным на разжигание холодной войны». В «Правде» появилась статья, где Пастернака называли «литературным сорняком». Начали «высказывать мнение» рабочие, начальники цехов и знатные трактористы: «Мы роман не читали, но Пастернак хуже свиньи, потому что даже свинья не гадит в своем стойле!» Примерно в том же ключе говорили представители советской интеллигенции. Репертуары театров лишились пьес Пастернака, его исключили из Союза писателей. Московская организация писательского союза потребовала лишить Пастернака советского гражданства. Высылка Пастернака всерьез обсуждалась в ЦК КПСС, Борис Леонидович начал разговоры с близкими о вынужденном отъезде из СССР. Зинаида Николаевна с сыном ехать отказались, Ольга Ивинская согласилась с радостью. Уезжать без жены и сына Пастернак не хотел категорически. Вероятность, что его вышлют одного, без жены и сына, выглядела для Бориса Леонидовича катастрофой. При его склонности к депрессиям, по состоянию здоровья — это было бы равносильно казни. Чтобы избежать высылки Пастернак написал покаянное письмо Хрущеву и в редакцию «Правды», сказал, что готов отказаться от Нобелевской премии. В подтверждение этому он послал телеграмму в Стокгольм: *«Ввиду того значения, которое приобрела присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я вынужден от нее отказаться. Не примите в обиду мой добровольный отказ».*

На фоне переживаний у Пастернака сильнее болят левая рука, плечо и лопатка, нарастает слабость. У Бориса Леонидовича в легких развивается опухоль, но никто диагноза ещё не знает, Пастернак списывает плохое самочувствие на старость.

Его покаянные письма и отказ от премии на власть не подействова-

ли, ведь роман вышел в свет, его читают и обсуждают, к Пастернаку поступают гонорары из-за границы. Критики Пастернака в СССР получили возможность говорить, что он «продался за деньги». Общее собрание московских писателей единодушно одобрило решение секретариата об исключении Пастернака из членов Союза писателей и обратилось к Президиуму Верховного Совета с просьбой о лишении его гражданства, высылке за границу. От писателей Пастернак такого не ожидал, ведь он сам не подписал ни одной петиции в осуждение коллег, хотя к нему обращались неоднократно. Наверное, Пастернака выслали бы из страны, но Борису Леонидовичу помог Джавахарлал Неру. Премьер-министр Индии, один из лидеров «Движения неприсоединения» возглавил мировой «Общественный комитет по защите Пастернака», сам несколько раз звонил Хрущеву, прося не трогать нобелевского лауреата. Ссориться с Индией, Югославией, Египтом из-за писателя Хрущев не хотел, это сильно ослабило бы позиции страны на международной арене. По распоряжению Хрущева ТАСС официально гарантировало неприкосновенность личности, имущества Пастернака. Надломленный травлей, болезнью, депрессией Пастернак пишет 11 ноября 1958 своей двоюродной сестре Марковой*: «Очень тяжелое для меня время. Всего лучше было бы теперь умереть, но я сам, наверное, не наложу на себя руки».*

После вмешательства Неру травля все же утихла ,в доме Пастернака наступила полная тишина. Все договоры на издания книг Пастернака в СССР были расторгнуты, денег ему в СССР не платили, небольшие гонорары поступали только из-за границы. Последние известные стихи Пастернак написал в январе 1959, после этого остаток сил он тратил на переписку — к нему ежедневно приходило от 20 до 50 писем с критикой или словами поддержки. В СССР расходились фотокопии книги, выпущенной в Голландии на русском, многие понимали неоднозначность происходящего, в российских столицах модны были ежемесячники «Театр» и «Новый мир» Твардовского, кафе «Артистическое», Яншин как муж Полонской, стихи Цветаевой, дневники Георгия Эфрона, проза Бунина, Ремарка и Хемингуэя... Запад стремительно входил в моду у студентов, интеллигенции, далеко не все осуждали Пастернака, к нему приходило много писем с поддержкой и с просьбами о материальной помощи. Советские люди думали, что Пастернак уже получил свои нобелевские миллионы, в наших газетах именно так и утверждали. В сотнях писем люди просили помочь, рассказывали ужасающие истории семейных несчастий и горестей, а Пастернак и рад бы помочь, только вот нобелевские миллионы до него не дошли, он от них отказался.

С конца 1958 Пастернака осаждали западные корреспонденты. В январе 1959 у Пастернака родилось несколько последних значимых стихотворений, одно из них — *«Я пропал, как зверь в загоне./ Где-то люди, воля, свет,/ А за мною шум погони, / Мне наружу хода нет...»,* — он зачем-то передал британскому корреспонденту. В переводе на английский стихи вышли 11 февраля 1959 в английской газете «Нью Стейтсмен». Это снова разозлило Хрущева, Пастернак нарушил негласный договор с властью: «Мы тебя не трогаем — ты не трогаешь нашу страну». Пастернака вызвали к Генеральному прокурору СССР Руденко, предъявили обвинение по статье 64 — «измена Родине», — сказали, что арестуют, если он и впредь будет встречаться с иностранцами, приказали на время покинуть Переделкино.

20 февраля 1959 Борис Леонидович с Зинаидой Николаевной вылетели в Тбилиси, решив пожить у Нины Табидзе, которую Пастернак двадцать лет материально поддерживал. Борис Леонидович в последний раз гулял по любимому городу, вечерами отлеживался, читал Пруста и Фолкнера, в один из дней съездили в Мцхету, но затем силы Бориса Леонидовича закончились. 6 марта1959 Пастернак с женой вернулись в Переделкино, к ним снова зачастили иностранные корреспонденты и западные деятели культуры. Однажды приехал американский дирижер

и композитор Бернстайн, перед концертом он успел поругаться с министром культуры СССР Михайловым, высказывал теперь Пастернаку:

— Как вы можете жить с такими министрами?

— *При чем тут министры?* — удивился Пастернак. — *Художник разговаривает с Богом, и тот ставит ему различные представления, чтобы ему было что писать. Это может быть фарс, может быть трагедия, это второстепенно… (3)*

Пастернак понимал, что находится в предсмертии, жил большой системой координат — жизнь, смерть, Бог, призвание, творчество… *«У меня все хорошо в видимой и невидимой части жизни,* — писал Пастернак в январе 1960 Нине Табидзе. — *Вещи, ее составляющие, давно переросли ту область, где что-то могут сделать и что-то изменить глупость, влияние, случайности, сплетни и слепота…»*

По часу в день Пастернак еще работал над новой пьесой, но ему не удалось ее закончить. Оставалось диктовать письма, в которых он прощался с теми, кто был ему дорог. С января 1960 у него начались постоянные боли в спине, на фотографиях этого времени он выглядит изможденным, постаревшим, усталым. К апрелю 1960 Пастернак окончательно слег в постель, не мог подняться на второй этаж, кровать для него поставили в гостиной возле рояля, на котором Зинаида Николаевна играла его любимую музыку. С марта 1960 Пастернак перестал навещать Ольгу Ивинскую, теперь он писал ей записки. Незадолго до смерти передал такую*: «Золотая моя прелесть, твое письмо как подарок, как драгоценность. Одно оно способно излечить, окрылить, вдунуть в меня жизнь…»*

Ольга Ивинская одиноко плакала в Измалково, а Зинаида Николаевна отчаянно боролась за жизнь мужа, собирая консилиумы лучших врачей. Поначалу медики думали, что плохое состояние поэта связано с очередным инфарктом, отмеченным кардиограммой, но смущали быстрая потеря веса, кровь в отходящей мокроте. В больницу на обследование Пастернак ехать отказывался, Зинаида Николаевна добилась, чтобы рентген ему сделали на дому. В Переделкино доставили — отдадим должное властям, они разрешили это сделать, — огромный рентгеновский аппарат из Кремлевской больницы, после рентгена 26 мая 1960 все стало ясно: опухоль в легких, множество метастазов в средостение, печень… Узнав диагноз, Борис Леонидович стал чаще отказываться от еды, желая прекратить бессмысленные мучения. Вел он себя мужественно, сохранял ясность сознания, утешал и поддерживал близких. 30 мая с утра Пастернак стал прощаться с родными, вечером этого дня он умер. Перед смертью, в разговоре с сыном, Борис Леонидович говорил о тревожащих его *«незначительности им сделанного, своей малой известности на родине, испорченных отношений с друзьями» (3),* называл свою жизнь *«единоборством с царящей и торжествующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант» (3).*

Оказаться в Переделкино мне удалось летом 2018. Писательский поселок сейчас — живой памятник советской литературе среди далекой от литературы новой жизни с ее вездесущим асфальтом, деньгами, автомобильной толчеей, с огромными домами-башнями спальных районов. Этот памятник разрушается пришлыми, далекими от культуры людьми. Взглянув на маленький дом Пастернака (музей возглавляет Елена Леонидовна Пастернак, внучка Зинаиды Николаевны), я отправился на местное кладбище, заросшее кустами бузины, черным лесом и соснами. В 1960-х там начал формироваться писательский некрополь, сейчас здесь очень много громких имен — Корней Чуковский, Арсений Тарковский, Роберт Рождественский, Татьяна Глушкова, Ольга Ивинская, Маргарита Алигер, Валентин Асмус… Рядом с белым камнем Пастернака сияла цветами свежая могила Евгения Евтушенко. Андрей Вознесенский тоже мечтал здесь лечь, но не сложилось, похоронили на Новодевичьем.

Я смотрел на кресты и надгробные камни, отмечал про себя, как громко здесь поют птицы, как весело пахнет свежей зеленью, думал о прошлом. Гениальное у нас прошлое, русский XX век был кровавым, но великим. Классическая русская и советская поэзия стоят одна другой, многие надгробные камни в Переделкино хочется гладить рукой, вспоминая стихи лежащих под ними. Все думалось — хотел Пастернак разрушить СССР? Мне кажется, он хотел сделать родину более человечной, духовной, чтобы советские люди искали Бога, а не отвергали Его. Все последние стихи в «тетради Юрия Живаго» сплошь о Нём, о Гефсиманском саде, о Магдалине. Пастернак думал о русской истории, о призвании художника в *«...мире спокойной непредвзятой действительности... где тебя взвешивают и подвергают испытанию, почти как на страшном суде, судят и измеряют и отбрасывают или сохраняют; ...мире, ко вступлению в который художник готовится всю жизнь и в котором рождается только после смерти, ...мире посмертного существования выраженных тобою сил и представлений» (письмо Гудиашвили 5 февраля 1960). Он думал о человеке, который «каждый в отдельности единственен и неповторим. Потому что целый мир заключен в его совести...»,* — находясь с властью в разной системе координат. Будем пинать его за это? Действуя по совести — покаявшись за прошлые ошибки, вернув в Россию изгнанных, обратившись к духовным силам народа, мы могли бы двигаться вперед, не разрушая СССР, как современный Китай. Но после Сталина, Хрущева, Брежнева неизбежно явились Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе, Козырев, Бакатин, Калугин, которые мечтали СССР именно разрушить. Вождям и лидерам страны опасно через кровь и насилие навязывать свои убеждения гражданам страны. Смерть страны, в этом случае, придет следом за твоей смертью, люди никогда не забудут жестокого правителя, но внутренне, душой — отстранятся. Ориентиры, цели и смыслы у поколений меняются, тут ничего не поделаешь... Мне жаль умершего СССР. Три поколения наших отцов и дедов работали на процветание Родины, мы и сейчас живы только благодаря им, но нашим отцам и дедам не хватило гибкости, сложности, глубины. Пастернак тут бы не помешал.

Нельзя запрещать поэтам и философам думать, даже если они говорят противное для тебя. Не надо сразу давать им всероссийскую трибуну, пусть пройдет время, отсеются ошибки и заблуждения, но писатели и философы должны думать. Многие из них ошибаются, лепечут не то, отвлекают от простых решений, но такие решения не всегда самые верные. Творческие люди часто ведут себя, как юродивые, Пастернак тоже был таким. Его правда, необязательная для других, лезла у него из всех щелей, ему же во вред. Многим советским людям эта правда и сейчас неприятна, но многие стихи Пастернака знают наизусть и не только в России, а Демьяна Бедного, Ставского, Лебедева-Кумача не читают.

Поэт в современной России перестал быть государственной фигурой, а жаль. Свой юродивый, говорящий неприятную правду, должен быть у народа. Поэт своим третьим глазом таланта, тонкой кожей чувствует, угадывает, провидит в народной душе больше, чем политик. Последними юродивыми, говорящими на всю страну, были Николай Рубцов, Владимир Высоцкий, Василий Шукшин, Валентин Распутин. Затем поэтов и писателей стало чересчур много — поди разберись, кто из них настоящий? Выбирают и оценивают время, Небо, народ, история... Они выбрали в том числе Пастернака.

Николая Рубцова задушила подруга. Высоцкий и Шукшин сожгли себя стимуляторами — у Высоцкого алкоголь и наркотики, у Шукшина банка растворимого кофе в день... Душа Распутина сгорела после смерти любимой страны и любимой дочери... В Туле похожие судьбы у Белозерова, Подъемщиковой, Дрыгаса, Талькова... Поэт в России всегда живет так, будто его облили бензином, а он еще прикуривает сигарету за сигаретой... Врачи Склифа свидетельствуют: когда душа молчала — Высоцкий бил себя кулаком в живот, однажды вызвав этим сильнейшее

желудочное кровотечение, после этого его откачивали в реанимации... Поэзия в России долго была способом существования, несовместимым с жизнью. Поэт в России более ста лет был чем-то вроде жертвенного животного. Сейчас это не так — то ли Храм нашей родины разрушили и поэты пустились в рассеяние, то ли еще почему? Судьба уже не тянет поэта на жертвенник, а для Пастернака это было странно. Всю жизнь судьба берегла его, сначала послав знаменитого отца, затем Сталина в качестве ангела-хранителя, в конце жизни — международный авторитет. Но при этом, в конце жизни, судьба все же возвела его на личную Голгофу. На ней он устоял в своей правде, не отрекшись ни от себя, ни от друзей, ни от любимых, независимо от того — согласны мы с его мыслями или нет. Несмотря на разность оценок, есть в его жизни смысл и красота, и поэтому, когда мы сейчас думаем о нем, многие из нас ему внутренне аплодируют.

2017-2019

ЛИТЕРАТУРА:

1. Б. Пастернак. «Переписка с Ольгой Фрайденберг»
2. Дневники Ольги Фрайденберг
3. Е. Пастернак «Борис Пастернак. Материалы для биографии» М.1989
5. «Переписка Бориса Пастернака» М. 1990
6. Зоя Масленникова «Портрет Бориса Пастернака» М.1990
7. Н. Вильмонт «О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли» М.1989
8. Борис Пастернак «Малое собрание сочинений» С-Петербург. 2014
9. Википедия